

520724K

Э. Вукетов



СВЯТОЕ ДЕЛО
УОКАНА



ОБ АКАДЕМИКЕ
САТПАЕВЕ

Е. А. БУКЕТОВ

СВЯТОЕ ДЕЛО ЧОКАНА

г. Караганда

63.3(5квз):

Б90

520724

В настоящий сборник известного ученого и писателя включены произведения, повествующие о духовном наследии двух великих ученых казахского народа, двух талантах в науке, культуре и искусстве, живших и творивших, - первый Чокан Валиханов в сфере XIX века, второй Каныш Сатпаев - в середине XX века.

Широкая эрудиция, тонкое чувство нюансов русского языка, богатство жизненных наблюдений, основательное знание историко-литературного материала, сложившееся повествовательное мастерство автора, безусловно, привлекут внимание широких кругов читателей к данному сборнику.

Министерство печати и массовой информации
Республики Казахстан, г. Караганда, 1994 г.

ISBN 57667-3034-9

© Е. Букетов, 1994 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДОРОГОЙ ТВОРЧЕСКИХ ИСКАНИЙ

Несколько лет я знаком с братом известного академика, писателя Евнея Арстановича Букетова - персональным пенсионером республики Камзабаем Арстановичем Букетовым. Его живой характер, энергия и постоянная, я бы сказал, завидная забота о трудах брата помогли и помогают ему сохранять богатое наследие именитого кровного родственника. Многие произведения Евнея Арстановича после его непредсказуемой кончины могли бы затеряться, так и не увидев света, если бы не сердечное отношение к ним Камзабая Арстановича. Благодаря его усердным хлопотам, беспокойному попечению в 1989 году в издательстве "Жалын" вышла книга Евнея Арстановича Букетова "Шесть писем другу". А сколько писателей, поэтов, журналистов Камзабай Арстанович привлек к изучению творческого богатства Е. А. Букетова, пропаганде его произведений, научных творений!

В народе говорят: "Два брата одним поясом опоясаны". Так ли это? Если говорить о Букетовых, то так. Только пояс их не показной, их пояс - это духовная общность, наполненная творческим поиском жизнь, интернациональное родство с людьми, прекрасными душой. Доброе братство, как известно, милее всякого богатства.

Новое свидетельство любви Камзабая-аги к своему полнокровному брату - лежащая перед нами книга Евнея Арстановича, в которую вошли его документально-публицистические очерки "Святое дело Чокана" и "Слово об академике Сатпаеве". Эти вещи я читал в рукописном виде, в свое время с сожалением сообщал в "Казахстанской правде", что они еще не изданы... И вот опять свершилось великое братотворение: Казамбай Арстанович сам подготовил и издал забытые рукописи Е. А. Букетова. Причем, напечатал их так, как хотел этого брат, - чтобы в одной книге были объединены его рассказы о Чокане Валиханове и Каныше Имантаевиче Сатпаеве - двух ученых, двух талантах, из которых и пошла затем плеяда звезд ученых и писателей Казахстана радующих нас своим светом тепла и надежды на лучшие времена.

Сам Евней Арстанович не раз говорил брату, что образы Чокана Валиханова и Каныша Имантаевича Сатпаева стали его болью и радостью, что если он не напишет их, то будет считать себя самым несчастным человеком на свете. Отдавая дань уважения и признательности великому казахскому просветителю, путешественнику и ученому Чокану Валиханову, Евней Арстанович сумел самобытно написать о нем. Для него Чокан - это прежде всего дух братства, бескорыстного товарищества, человеческого благородства. Букетов проследил это на дружбе Чокана с Достоевским, их "Узах братской нежности и нерасторжимого родства душ".

Что же их объединяло? Конечно, фанатичная преданность науке, литературе, огромное трудолюбие и любовь к людям. Именно эти качества повели Чокана по трудным дорогам творческих исканий. Открытия, сделанные им

во время путешествия в Кашгар, поставили его в один ряд с выдающимися географами мира. Он создал оригинальные труды по истории, этнографии, экономике, социологии. К тому же, он, как и Лермонтов, был великолепным художником и поэтом, отличным собирателем народного фольклора, наконец, открыл для всех нас впервые киргизский эпос "Манас".

Мне не хочется пересказывать здесь сюжет эссе "Святое дело Чокана", да, видимо, этого и делать не надо, ведь тогда читателям будет неинтересно читать книгу. Но скажу: написан очерк колоритно, сочным языком, на высоком публицистическом канале! Мы привыкли считать ученых сухарями, их рациональный язык порой нас даже шокирует. Но, читая "Святое дело Чокана", убеждаешься, что Е. А. Букетов неплохо владеет словом, серая проза ему не по нутру. Лишь точно выверенное слово, мастерски слепленная фраза сродни биению его сердца.

Как мы знаем, Евней Арстанович был человеком щедрой души, творческой натурой. В очерке "О Букетове и не только о нем", опубликованном в свое время в "Казахстанской правде", я раскрыл все грани его таланта: ученый-химик, организатор, строитель, писатель, переводчик, воспитатель новой смены. Конечно, и героев для своих очерков он подбирал, как говорится, себе под стать, под свой талант. И не мог он, безусловно, пройти мимо такой яркой личности как Каныш Имантаевич Сатпаев, который вобрал в себя все лучшие качества человека и ученого. Рассказ о Сатпаеве - это и возвращение ему нравственного долга, ибо как раз Каныш Имантаевич первым заметил Е. А. Букетове дар творить, созидать. Память по Сатпаеву у Евнея Арстановича прочная и незабвенная. Но творческий дар - это дар первооткрывателя, дар говорить объективно. И Букетов, пожалуй, первым среди литераторов Казахстана попытался правдиво сказать в очерке и о тех горьких испытаниях, терниях, что выпали на долю Сатпаева в годы сталинизма. Не зря он взял эпилогом к очерку о Сатпаеве слова поэта В. Маяковского:

"Где,

когда,

какой великий выбирал

Путь

чтобы протоптанней

и легче?"

Дорогой читатель, книга, которую ты держишь сегодня в руках, - это дань памяти и самому Евнею Арстановичу Букетову. В марте 1995 года мы будем отмечать 70-летие со дня его рождения. И, конечно, самый лучший подарок в этой дате Евнею Арстановичу Букетову - издание ранее неизданных его рукописей.

Валерий МОГИЛЬНИЦКИЙ.

СВЯТОЕ ДЕЛО ЧОКАНА

...Не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который растолковал бы в России, что такое Степь, ее значение и ваш народ относительно России, и в то же время служить своей Родине просвещенным ходатаем за нее у русских...

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

Из письма Чокану Валиханову.

Федор Михайлович Достоевский... Немногочисленны те, кто пользовался душевно-открытым, доверительно-сердечным расположением этого русского гения: стоило почувствовать малейшую фальшь в поведении и образе мыслей человека, уже, казалось бы, снискавшего право на близость, как он тут же замыкался, становясь внутренне недоступным. А все притворное и неискреннее этот изумительный психолог разгадывал легко. И оттого великий писатель сохранял неизменную и ровную привязанность к очень и очень немногим. Среди этих немногих был юноша моложе Достоевского почти на пятнадцать лет, но тем не менее находивший возможным обращаться к нему коротко на «ты», и, обычно нелюдимый, подчеркнуто-вежливый, щепетильно суровый, не допускавший даже намека на панибратство со стороны кого бы то ни было, Федор Михайлович принимал это как должное — таковы были узы братской нежности и нерасторжимого родства душ между друзьями. Он пророчил юноше большое будущее и был удовлетворенным свидетелем того, как быстро сбывались его предсказания. Молодой друг восходил так бурно и располагал к себе так неотразимо, что к нему с большой добротой и прительски-благожелательным вниманием относились знаменитый профессор-ботаник, ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов, известнейший поэт Аполлон Николаевич Майков, великий географ и путешественник Петр Петрович Семенов-Тяньшанский и многие другие выдающиеся представители умственной элиты русского общества. Он был удостоен личного внимания самого царя, он испытал на себе попечительную благосклонность могущественного канцлера, министра иностранных дел сиятельнейшего князя Александра Михайловича Горчакова; обер-прокурор святейшего синода граф Александр Петрович Толстой почитал за честь принимать его в графском доме и просить как почетного

один из них при общении со всесторонне образованнейшим, с непостижимо начитаннейшим, с обладающим не только редкой наблюдательностью и целеустремленной логикой научного мышления, но и удивительной способностью образного, поэтического восприятия явлений жизни Чокана не мог претендовать на ведущую роль. И в этом смысле Федор Михайлович Достоевский был, пожалуй, единственным другом Чокана, к гению которого проникательный ум казахского ученого относился с трепетным благоговением. Дружба этих двух великих людей является ярчайшей страницей в истории братства русского и казахского народов, и не случайно она, эта дружба, ныне стала предметом научных исследований, психологических догадок, художественного творчества. К этой теме мы вернемся чуть позже, здесь же хочется отметить, что сердечная близость этих двух выдающихся личностей особенно ценна для нас тем, что Чокан Валиханов был первым сыном своего народа, достигшим, по выражению Ф. М. Достоевского, образования вполне европейского, был первым ученым-казахом, нашедшим широкое признание русской и европейской научной общественности. Эта дружба особо знаменательна для нас еще и тем, что ни до, ни после Чокана Валиханова вплоть до Великой Октябрьской революции ни один наш соплеменник не проявил себя таким образом, что так естественно, спокойно, непринужденно войти в круг самых выдающихся умов своего времени, чтобы предстать перед изумленным взором высших ценителей интеллекта и мысли в таком блеске, с таким органическим врожденным чувством собственного достоинства, как это сделал этот сын степей, этот киргиз-кайсак, этот царский от армейской кавалерии поручик. Он был первым из нашего народа, кто личным примером, вопреки всем противодействующим обстоятельствам, засвидетельствовал, на что способны люди, кочующие вслед за своими отарами в степных просторах окраин Российской империи и замороженные историческими условиями на уровне дикости и полудикости; он впервые засвидетельствовал, что люди, представление о которых у царя и его окружения не продвинулось ни на шаг с тех пор, когда поэт Державин в приступе подобострастия в сладкозвучных стихах возвел «государыню-мать» Екатерину в «богоподобную царевну Киргиз-кайсацкия Орды», и которых официальный Петербург продолжал третировать, как номадов и туземцев, не зная и не желая знать, с какой великой жадью эти «номады» и «туземцы» ждут своего духовного возрождения.

«Задачей своей жизни Валиханов считал служение киргизскому народу, защиту его интересов перед русской властью и содействие его умственному возрождению. Последнее для него возможно было только косвенным образом; он мог изучать свой народ и печатать свои труды на русском языке... Прямое же воздействие посредством писания и печатания на

киргизском языке было бы праздным делом, потому что киргизский народ безграмотен. Но если бы у Чокана Валиханова была киргизская читающая публика, может быть, в его лице киргизский народ имел бы писателя на родном языке в духе Лермонтова и Гейне», — так писал Г. Н. Потанин. «Если б Чокан имел в киргизском народе читающую среду, он мог бы стать гением своего народа и положить начало возрождению своих единоплеменников» — писал он в другом месте. Какая тяжелая, какая трагическая суть, какая горькая правда заключена в этих внешне спокойных фразах. Для тогдашней российской действительности эта правда была не нова. С тех пор, как в начале тридцатых годов восемнадцатого столетия племена Младшей казахской Орды добровольно связали свою судьбу с Россией, с русским народом и это послужило благотворительным примером для племен Средней и Большой Орды, история нашего народа, жизнь и деяния лучших его представителей стали неотделимы от истории великого собрата, от судеб его выдающихся личностей. И наш первый ученый испытал в полной мере, вернее сказать даже в большой мере, все то, что испытывали те, кто оказывал своей деятельностью неоценимую услугу Отечеству. «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок...

Рылеев повешен Николаем.

Пушкин убит на дуэли тридцати восьми лет.

Грибоедов предательски убит в Тегеране.

Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе.

Веневитиков убит обществом, двадцати двух лет.

Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет.

Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой.

Полежаев умер в военном госпитале, после восьми лет принудительной солдатской службы на Кавказе.

Баратынский умер после двадцатилетней ссылки.

Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым после сибирской каторги...» — так писал Герцен А. И. в 1860 году.

Позже он мог бы причислить к этому списку заживо погребенного в Сибири Н. Г. Чернышевского, тридцати шести лет, сломленного многолетней солдатчиной Т. Г. Шевченко, Н. А. Добролюбова, умершего двадцати пяти лет, Д. И. Писарева — двадцати восьми лет и многих, многих других. Теперь доподлинно установлено, что материалы к остропублицистической статье о злоупотреблениях властей в казахских степях, напечатанной в герценовском «Колоколе» в 1862 г., были представлены Чоканом Валихановым, однако мы не знаем, как осведомлен был А. И. Герцен о научной и общественной деятельности казахского ученого; скорее всего, не был осведомлен, но если

бы он знал Чокана Валиханова, то пламенный Искандер без сомнения внес бы его в печальный, скорбный список жертв императорского скипетра, ибо по уровню одаренности и духовного развития, по чистоте и возвышенности жизненных целей он находился в ряду тех, которым тогдашняя действительность создавала самые несносные, самые жестокие условия бытования. И не удивительно, что Чокан Валиханов умер в 1865 году, не дожив до тридцати лет. Это был, как писал Н. А. Некрасов по поводу смерти гения другого братского народа украинца Т. Г. Шевченко, «Случай предвиденный, чуть не желательный». Потомки ныне признательны Чокану Валиханову за то, что он, благодаря беспримерному мужеству, благодаря редкостной одаренности, соединенной с целеустремленным упорством, вписал свое имя в ряд любимейших имен народа. Он за короткое время прославился как исследователь географии, этнографии, истории, языка и литературы родственной нам Киргизии и киргизского народа, а также так называемой малой Букарии, как тогда называли Синь-Цзян-уйгурскую автономную область Китая, став во многих случаях первооткрывателем самых разнообразных научных фактов; он проявил себя выдающимся знатоком экономики, быта, верований, обычаев, прошлого и ему современного, словом, всего того, что касалось родного казахского народа. Все его труды отмечены печатью гения, а это означает, что многие его мысли, догадки, суждения и соображения остаются и доныне непреходяще ценными. В этом нас убеждают подробные научные изыскания в различных аспектах творческого наследия, проводимые теперь чокановедами. Чокан Валиханов не относился к типу кабинетных ученых, устремленных к постижению истины в определенной, узкой области, его интересовала жизнь во всех ее проявлениях; глубина этого интереса определялась его исследовательским даром, его редчайшим умением поверять алгеброй гармонию, а его трепетная отзывчивость, необыкновенная гибкость мышления — поэтичность, артистизмом его натуры, способностью образно и художественно видеть, чутко и эмоционально внимать. Именно в таких людях, как в фокусе, сосредоточивается, накапливается и ярко высвечивается опыт поколений. И поэтому сама жизнь гения со всеми ее человеческими особенностями становится поучительным материалом для познания духовных ступеней, по которым восходили народы к настоящему, и, следовательно, для познания истоков, во многом определяющих наши достоинства и наши недостатки. Не праздный интерес человека, не знающего чем заняться, не обывательская жажда покопаться в задворках чужой жизни побуждают нас к изысканию и изучению мельчайших нюансов в личной и творческой судьбе М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. С. Пушкина и Абая, В. В. Маяковского и Сакена Сейфуллина, а желание знать, подражать, сверять себя по этим немеркнущим образцам, получать от соприкосновения с ними живые творческие импульсы.

Мало жил этот человек, краткой была его деятельность. Но он жил так содержательно, проявил свой творческий темперамент так бурно и так плодотворно, что тщетно было бы дерзнуть на полноту описания его вдохновенных деяний и проникновенных чувствований, на глубину раскрытия психологической причастности, проявлявшейся в его воле и его поступках. И этот очерк о Чокане Валиханове является, может быть, лишь одним из отзвуков, которыми откликается наша душа, удивленная и пораженная непостижимой гармонией могучего духа выдающегося сына народа.

Пушкин гордился шестисотлетним дворянством. «Мое дворянство старее», — даже заметил он в скобках, отвечая Рылееву на упреки по этому поводу. Однако эта гордость не мешала ему преклоняться перед гением бывшего помора Михаила Ломоносова и восхищаться смелостью, находчивостью и размахом беглого казака Емельяна Пугачева. Валиханов имел не меньше оснований гордиться почти семисотлетним чингизидством. Он носил титул степного принца, султана поистине по-пушкински. «Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им», — писал великий поэт. Чокан Валиханов не мог испытывать перед кем бы то ни было что-то подобное подобострастию и унижению не только потому, что он был наделен природой особо обостренным чувством собственного достоинства, но еще и потому, что никто не мог его упрекнуть в незнатности и неизвестности его родового древа. Он считал себя потомком Тимучина, ставшего покорителем мира Чингисханом, и был правнуком знаменитого хана Аблая, царствовавшего в казахских степях во второй половине восемнадцатого столетия. Интересно само восхождение Аблая к вершинам знатности и могущества. Это был период в истории Средней Азии и Казахстана, когда бесчисленные отпрыски некогда грозных властителей, пребывая в претензии ни больше, ни меньше как на роль Батыя и Тамерлана, в жажде крови, мести и власти довели до крайнего раздробления и истощения народы обширного и богатого края. В этот период раздоров и распрей, взаимного изнурения и истребления, всеобщего измельчения и унижения прадед Чокана хан Аблай был, пожалуй, единственным властителем, который, благодаря личной доблести, уму и ловкости, сумел увлечь большинство казахского народа идеей единства и создал сильное объединение казахов Большой и Средней Орд, которому были подвластны к тому же прилегающие окраины нынешних Киргизии и Узбекистана. Теперь грозный сын казахских племен успешно противостоял продвижению на запад китайцев, опьяненных только что закончившимся варварским истреблением целого джунгарского народа. Недолговечно

было это объединение, но это было время особого духовного подъема казахского народа, вызванного чувством общности, чувством утверждения национального достоинства. «В преданиях киргизов Аблай, — пишет Чокан Валиханов о своем прадеде, — носит какой-то поэтический ореол, век Аблая у них является веком киргизского рыцарства. Его походы, подвиги его богатырей служат сюжетами эпическим рассказам. Большая часть музыкальных пьес, играемых на дудке и хонбе, относится к его времени и разным эпохам его жизни. Народные песни «Пыльный поход», сложенная во время набега, в котором был убит храбрый богатырь Боян; «Тряси мешки» — в память зимнего похода на волжских калмыков, во время которого киргизы голодали семь дней, пока не взяли добычи, — разыгрываются до сих пор киргизскими музыкантами и напоминают потомкам поколения Аблая прежние, славные времена.

Этот прадед Чокана умел окружать себя выдающимися людьми, подобными министрам и маршалам Наполеона, и песни, и сказания о подвигах батыров Аблая хранятся в памяти народной до сих пор. И все же некоторые несложные умозаключения, вытекающие из фактов жизни и деятельности Аблая, приводят к неутешительным соображениям относительно движущих помыслов знаменитого хана. Русский царь Петр Первый заботился паче жизни о единстве и могуществе России; когда его охватили сомнения относительно возможностей наследника царевича Алексея к дальнейшему проведению этой великой цели, он не постоял перед тем, чтобы лишить его жизни, дабы этот малоспособный, малодушный и слабовольный человек впредь не претендовал на императорский трон. По уровню взглядов на исторические обстоятельства, конечно, не сравнить образованнейшего русского царя с, по-видимому, малограмотным ханом. И все же стоит обратить внимание на следующее свидетельство знатока казахского прошлого писателя Сабита Муканова. «Аблай в 1770 году подчинил себе киргизов... В 1771 году сына своего Адила посадил владельцем большой Орды. У Аблая было тридцать сыновей, и он всех сделал предводителями отдельных подчиненных ему казахских родов». Получается, что Аблай, достигший объединения степей ценою громадных усилий народа, ценою потоков крови и бесчисленных жертв, не придумал ничего лучшего, как раздарить подвластные племена и земли своим многочисленным сыновьям, и эти царевичи, движимые алчностью, чванством, тщеславием и взаимной завистью, медленно привели казахский

народ к прежнему раздроблению и прежним раздорам. Тут поневоле вспомнишь как всегда, меткое и точное определение А. С. Пушкина, данное им в заметках по русской истории: «Удельные князья — наместники при Владимире, независимы потом». Как недалеко был в честолюбивых замыслах этот властелин, как его мало интересовало будущее народа! Конечно, можно с уверенностью сказать, что, если бы хан Аблай стремился и завещал единство казахских племен, достигнутое при нем, то это завещание осталось бы пустым звуком. Отсталые, кочевые племена с примитивной экономикой при тогдашних условиях не могли претендовать ни на государственность, ни на собственный путь развития. Позднее, когда внук Аблая Кенесары, такой же смелый, хитрый и ловкий фанатик, как его дед, пожелал повторить подвиги пращура, из этого ничего путного, кроме жестокостей и разорения, не получилось. И все же поражает, что самый знаменитый хан несчастного народа не мог подняться ни на йоту выше утоления собственной жажды власти. Недаром в казахском народе, столь чутком к проявлению благородных стремлений со стороны властителей, нет ни одного куплета, воспевающего помыслы хана Аблая в заботах о будущем подвластных ему земель и племен, но зато много стихов, посвященных его могуществу и жестокому всевластию.

В родословной, составленной Чоканом Валихановым, его прадед Аблай означен как потомок хана Жанибека, ведущего свой род от старшего сына Чингисхана Джучи. Но место Аблая в этой родословной наводит на некоторые размышления. Дело в том, что Аблай прожил семьдесят лет, причем в освященном ханском достоинстве он числился лишь последние десять лет своей жизни, а именно в 1771—1781 годах. До этого ханом был Абульмамбет, прадед которого Жангир должен был быть, по этой родословной, прапрадедом султана Аблая. В исторических документах Абульмамбет почти не выступает один, а всегда вместе с султаном Аблаем. В народных сказаниях также вспоминают Абульмамбетхана только в связи с Аблаем. Стоит подумать, почему этот дальний родственник хана имел на дела такое влияние, что хан без него не мог обходиться... Не своеобразный ли это Борис Годунов при слабовольном царе Федоре Иоанновиче; Борис Годунов, не имеющих даже тех зыбких признаков родства, на основе которых тот вззошел на русский трон? К этим соображениям приводит и следующее обстоятельство, в связи с которым мы обратимся к Чокану Валиханову. «Дед его, — пишет он, — тоже по имени Аблай, был владетелем города Туркестана и прославил-

ся такими воинскими доблестями, что получил грозное и почетное звание Кан-Ичер (кровопийца). Сын его, Вали, не мог поддержать славу отца; один из соседних владельцев, взяв Туркестан, убил его, только преданность одного из рабов спасла жизнь тринадцатилетнего сына Аблая. Верный слуга бежал со своим питомцем в Киргизскую степь. Юный Аблай, отвергнутый знатными своими родственниками, вступает в услужение богатому киргизу рода Якшилык». Писатель Сабит Муканов приводит несколько иную версию. Аблай бежал из Бухары, где его отец Абульфаиз был убит персидским Надир-ханом, к своему родичу Абульмамбет-хану в Туркестан. Хан принял его плохо. Тогда, назвавшись сыном своего раба Сабалаком (Немытый), пришел к богатому казаху и пас у него скот. Нетерпеливый честолюбец, естественно, не мог долго предаваться этому низменному занятию. Он бежал на Север, в степи Центрального Казахстана — Сары-Арку, по пути, считая, что родитель с отрезанным ухом (признак рабства) не будет способствовать его тщеславным замыслам, предательски убил его. Черную неблагодарность этот великий честолюбец, как и все честолюбцы мира, не относил к своим недостаткам, и это было, может быть, первое из бесчисленных убийств, учиненных этим человеком. Далее юноша показывает всяческую расторопность и жизнеспособность. Была большая битва, когда никому не известный Сабалак в решающий момент победоносно напал на врагов с воинственным кличем «Аблай!» и этим решил исход битвы. Здесь же прославленные батыры, которые станут потом сподвижниками Аблая, признали его знатное происхождение, ибо, по их представлениям, затмить их доблесть мог только ханский отпрыск, хотя до этого совершенно не ведали о существовании какого-то Сабалака, названного теперь возвышенным именем «Аблай», поскольку тот призывал на помощь дух своего деда Аблая. Народные предания с благородным простодушием верят этой легенде и восхищенно пересказывают ее, ибо народу важны были смелые деяния Аблая и его батыров, а не генеалогические тонкости. Не потому ли в преданиях народных приводятся совершенно наивные аргументы в пользу недостижимого высокого происхождения Аблая. Оказывается, хозяин при появлении пастуха Сабалака вздрагивал; несмотря на пастушеское положение был по-белокостному привередлив к еде; спал на спине, широко раскинув руки и полностью развернув ладони, признак того, что вскоре все окажутся в его железных объятьях и стальном кулаке и т. д. Теперешние дотошные потомки в поисках истины имеют склонность делать выводы на основе беспристрастного сопоставле-

ния имеющихся исторических сведений. Все знают, как ретиво представители белокостной знати, вдохновленные на это благое дело разрешением мусульманской религии иметь несколько жен (чингизиды это приняли, как разрешение иметь сколько угодно жен). Можно полагать, что при таком размножении в голове и сердце султана или хана в отношении родства и родственных привязанностей и обязанностей получалась большая путаница. И к такому хану в казахскую степь (по Ч. Валиханову) или в Туркестан (по С. Муканову) является бо-соногий, нищий мальчик, ведомый человеком с отрезанным ухом, и навязывается в троюродные племянники, когда тут своими, родными двоюродными племянниками хоть пруд пруди. В таких случаях власти плохо признавали и более близких родственников, поэтому правильно решил отверженный отрок, что лучше быть пастухом у бая, чем не признанным и нежелательным родственником у хана. Другое дело, когда перед ханом появляется рыцарь в ореоле личной доблести и славы, во главе победоносного войска, предводителем которого он стал по праву мужества и полководческого искусства, и твердо, ясно и четко заявляет: «Таксыр! Государь! Я твой троюродный племянник!» Тут уж не могло не дрогнуть сердце хана, не мог он не почувствовать, что нахал, подступивший с таким заявлением, может быть не только троюродным, но и двоюродным, и даже родным племянником: настолько сильным, настолько неопровержимо убедительным доказательством являлось войско, стоящее за спиной новоявленного родича. И, конечно же, при таком способе доказывать свое родство хану, Аблаю лучше всего было вначале убить своего отца-раба, уж слишком много тот знал о своем сыне-султани. Дальнейшие события разворачивались таким образом, что ханом являлся Абульмамбет, а вершил дела султан Аблай. Случаев такого проявления родства в истории было немало. Сам Чокан рассказал в сохранившемся отрывке про некоего Ондана, бежавшего из родных мест, боясь мести за убийство. Он вышел, — пишет ученый, — в Малые ногаи, а оттуда к кайсакам и по храбрости был признан за султана». Ораз-Мухамед, насимовский хан, был сыном этого Ондана. Можно полагать, что из всех имен в родословном древе Чокана Валиханова имя Аблай-хана очаровывало, пленяло и возбуждало воображение мальчика, как только он стал понимать рассказы о жизни и деяниях своих предков, ибо в то время не было казахской семьи, казахского рода, где бы относились равнодушно и беспристрастно к своему происхождению. Традиционно повелось, что мальчик мог не знать еще счета чисел натурального ряда,

не говоря уже об азбуке (которую ему, как правило, не всегда суждено было и знать), но он уже знал имена всех предков не менее, чем до седьмого колена. Причем среди этих предков непременно находился мудрый и могучий богатырь, духауах которого витает над родом, внушая поклонение и обращение за поддержкой в решительные минуты жизни. Чаще оказывалось, что столь возносимый предок не был известен никому, кроме, может быть, своих же потомков, но последние не могли не наделять его изумительными качествами и не восхищаться ими в ожидании возрождения этих качеств в ком-то из следующих поколений. Эта наивная вера служила большим утешением для бедных и обездоленных. И уж нечего говорить о том, как возносился воспетый и воспеваемый степными златоустами Аблай-хан в семьях его многочисленных отпрысков, рассеянных по всей обширной территории Казахстана и, в мечте об аблаевском могуществе и почете, считавших себя обделенными и притесненными.

И вот в одной из таких семей появился мальчик, наделенный природой богатым воображением, редкой наблюдательностью, способностью впитывать, как губка, и эмоционально усваивать опыт окружающих, и при этом обостренно чувствовать и уже переживать непонятные для детского ума противоречия в жизни и поступках родителей и всех близких людей. Можно легко понять глубину и драматизм этих противоречий, если представить, как вчерашние самовластные владельцы казахских степей превратились или в скромных, преданных чиновников русского царя, как это случилось с умным и дальновзорким отцом Чокана султаном Чингисом, или оказались вслед за светлейшим князем Меньшиковым в Березовке, куда был сослан родной дядя Губайдулла за претензии на ханское положение в степях, или стали отчаянными и жестокими организаторами воинских набегов, граничащих в разбоем, как это сделал двоюродный брат отца Чокана Кенесары. Все остальные менее яркие личности металась между этими крайними путями, усугубляя драматизм, а порою и трагизм своего положения. И все они в своих малых и больших поступках воодушевлялись духом-аруахом хана Аблая. Редки были среди них (скорее, вовсе не было) такие, кто ко времени рождения Чокана был образован настолько, чтобы не верить в такую чепуху, как чудодейственная сила того, кто представлял кости, давно уже сгнившие в земле.

Не думается, чтобы взрослый Чокан чересчур обольщался своим белокостным происхождением, так называемым чингизидством своей крови. Еще менее, конечно, он был склонен

520224
придавать значение духу своего предка Аблая. К тому же он был слишком большим аналитиком, чтобы простые соображения, которые мы высказали выше о хане Аблае, не приходили ему на ум. Не думается, чтобы он случайно записал предание об Ондане, возвышение которого слишком прозрачно напоминает карьеру его прадеда. Этот рационалист, естественно, понимал и втайне, возможно, радовался тому, что через Ондана, Аблая и ему подобных народ впрыскивал энергию, активность, жизнеспособность и, наконец, мудрость в расслабленные организмы потомственных властителей. Он был так же объективен и беспристрастен, как и Пушкин, спокойно перечислявший в автобиографических записках жестокости впавших в маразм крепостников-предков, как по отцовской, так и по материнской линии; Чокан знал, что таких было немало среди его предков.

Природе часто угодно бывает наделять такими качествами, которые имелись у мальчика Чокана, слабые натуры. В этих случаях окружающая обстановка ложности положения и драматизма развивает в неустойчивых, склонных к хорошему развитию только в других, нетироречивых условиях, натурах крайнюю неуравновешенность, метание от невозможной спеси, гордыни до пошлого самоуничтожения, до разрушающего все человеческие достоинства комплекса неполноценности. Безвозвратная потеря былых неограниченных привилегий породила среди чингизидов немало таких раздвоенных, надломленных личностей. Чокана природа счастливо наградила, кроме всего прочего, еще и сильной, железной волей. И обстановка неуверенности, разброда, во многих случаях отчаяния, печать которых лежала на всех, кого видели его наблюдательные глаза и слышали всеулавливающие уши, обостряли его чувства и ум, закаляли его упорство, усиливали его рационализм. Стоит посмотреть поближе на те условия, в которых рос и развивался будущий ученый.

* * *

Мухтар Омарханович Ауэзов рассказывает в одном из своих комментариев к созданной им исторической эпопее о великом Абая, как столкнулся с неимоверными трудностями при изучении биографии поэта, хотя поэт умер всего лишь тридцать с небольшим лет до этого, да и писатель сам видел выдающегося земляка (ему было семь лет, когда умер Абай). Трудности эти были связаны с тем, что, несмотря на то, что сам Абай был образованнейшим человеком своего времени и был окружен достаточно грамотными людьми, письменные

данные о жизни поэта не сохранились, кроме некоторых документов уездной и областной канцелярий. Сказывалось отсутствие традиций вести дневниковые и другие записи, беречь эпистолярное наследство. Единственным источником в этом случае являются устные воспоминания, и ими воспользовался М. О. Ауэзов. «Читать о прошлом, — писал он, — приходилось в потускневшей, ослабнувшей памяти моих престарелых собеседников; многое приходилось оживлять и своими догадками, расшифровывать путем сопоставления с рассказами другого современника Абая. С этими воспоминаниями приходилось обращаться бережно и осторожно. Так запоздалый путник, отыскав в пепле костра, оставленного давно ушедшим караваном тлеющий уголек, бережно и осторожно раздувает его, вызывая своим дыханием огонь». Нужно сказать, что здесь нашему знаменитому писателю повезло — он имел дело с людьми, видевшими, общавшимися с Абаем. А что говорить о тех устных воспоминаниях, которые передаются через поколения? Здесь рад бываешь и тому, если найдешь место, где был привал давно ушедшего каравана, и видишь, что на пепле оставленного костра растет буйная трава легенд и сказаний, в которые превратились дополненные и преобразованные воображением поколений когда-то достоверные воспоминания современника. С Чоканом Валихановым нашему народу повезло. Благодаря редкой образованности, благодаря дружбе и близости с лучшими русскими людьми, мы имеем теперь в руках такое письменное наследство, какое не оставлял ни один деятель из нашего народа до революции. Изучая творческое наследие Чокана Валиханова, мы ныне не только входим в захватывающий мир духовных интересов, свершений и помыслов этого выдающегося человека, но и видим блестящий пример бережного отношения к интеллектуальным достижениям и возможностям так называемых «инородцев» со стороны лучших представителей русского народа, мы с глупо-блестящим волнением чувствуем, как в головах и сердцах этих людей, совершенно не отягощенных никакими сословными и национальными предрассудками, никогда и не существовало никаких «инородцев», а были и есть народы, равные по возможностям, но отставшие по проклятым условиям исторического бытования.

К сожалению, наличные сведения и данные, по которым мы познаем деяние и восстанавливаем облик личности выдающихся людей, никогда нас не удовлетворяли, ибо одинаково дороги нам каждая оброненная мысль, каждый день и час их жизни. И поэтому материалы по биографии и творческому наследию Чокана Валиханова, оставаясь, как мы уже говорили,

выдающимся явлением в дореволюционной историографии нашего народа, в то же время ныне недостаточно удовлетворяют наш возрастающий интерес к самобытной, неповторимой фигуре этого удивительного человека. На этих материалах лежит явная печать ущербного влияния кочевых условий жизни и традиций на вполне цивилизованного сына степей. В частности мы не имеем никаких письменных источников о детских годах Чокана; между тем, он был отвезен в Омск, в кадетский корпус в двенадцать лет, в возрасте, когда приобретает до этого накладывает вполне определенный отпечаток на будущее. Родители и близкие Чокана не берегли его эпистолярное наследство, поэтому очень мало сохранилось из того множества писем, которые получал общительный ученый от многочисленных корреспондентов. Словом, при изучении творческого наследия Чокана Валиханова радость от великопечных страниц, где ощущаешь подлинное дыхание самого ученого и его выдающихся друзей и современников, постоянно перемежается с горечью невозвратимых утрат, с сознанием исключительных трудностей в биографии ученого. И это целиком относится, как мы уже говорили, к детскому возрасту Чокана.

Чокан Валиханов родился в ноябре 1835 года. Он был, по видимому, первым ребенком в семье молодого старшего султана Аманкарагайского (потом переименованного в Кушмурунский) округа — административной единицы, созданной царским правительством для управления родами керей и уак, кочевавшими в основном на территории нынешней Кустанайской области Казахской ССР. Старший султан, по рассказам, в то время с семьей проживал большей частью в крепости Кушмурун, с осторожностью кочуя летом на недалеком расстоянии от крепости, ибо султаны, в особенности самый непримиримый и грозный из них двоюродный брат Чингиса Кенесары, не могли свыкнуться с мыслью о потере бывших привилегий и мстили отцу Чокана за верность русскому царю. Сохранился план этой маленькой крепости, нарисованный семнадцатилетним кадетом Чоканом в последний его приезд на каникулы в 1852 году. Судя по рисунку, казарма, домики для старшего султана, чиновников и гарнизонного начальства да небольшие хозяйственные постройки с общей оградой из чего-то вроде досок или частокола, — вот что представляла собой эта так называемая крепость...

«...В местности Кушмурун, — пишет Н. Г. Потанин, — прошло детство Чокана. Когда Чокан поступил в кадетский корпус, я не помню, чтобы он что-нибудь рассказывал о Сырымбете; все его детские воспоминания, кажется, относятся к Кушмуруну!» И на самом деле, урочище Сырымбет, где кочевали

и зимовали мать и единоутробные братья Чингиса, расположено в трехстах-четырехстах километрах от Кушмуруна — расстояние немалое для того времени. В Кушмуруне же Чингис прослужил на должности ага-султана (старшего султана) почти до 1853 года, когда Чокан уже кончал Сибирский кадетский корпус. Поэтому, можно было предположить, что ребенок рос отчужденно от бабушки и других близких. Между тем, по свидетельству академика А. Х. Маргулана, «Значительное влияние на духовный рост маленького Чокана оказала его бабушка Айганым. Для впечатлительного, одаренного от природы мальчика бабушка была неисчерпаемым источником знаний народной мудрости. В увлекательной форме она рассказывала Чокану старинные казахские легенды, предания, вспоминала исторические события недавнего прошлого, в которых сама принимала участие. Светлые воспоминания о бабушке-носителнице лучших народных традиций, обычаев — Чокан сохранил на всю жизнь».

Как это могло быть? Трудно представить себе, чтобы вдова владетельного хана, хотя и лишенная теперь привилегий, но не оставившая привычку «володать и княжить», поехала вместе с сыном Чингисом и жила где-то в Кушмуруне, около него. Не таков был характер властной, гордой и твердой в своих принципах ханши, как она прозывается в тогдашних официальных документах. По преданиям, она, Айганым, предпринимала усилия, чтобы стать самой на степной трон — ханскую белую кошму после смерти мужа, явно пренебрегая правами старшего пасынка Губайдуллы. Может быть, эта умная и ловкая дама слышала о многочисленных женщинах, которые головокружительно восходили и достаточно твердо, до самой смерти, сидели на царском троне, имея на то часто очень сомнительные основания. Неизвестно, как разыгрались бы события, если бы Сперанский в благотельном рвении об улучшении участи «иностранцев» не упразднил ханскую белую кошму вообще. Проживание, даже кратковременное пребывание, степной царицы в Кушмуруне непременно осталось бы в памяти родов керей и уак, однако на этот счет народная молва хранит молчание. И хранит молчание не случайно: ханша не находила целесообразным выезжать в какой-то Кушмурун, когда она, как свидетельствуют документы, проникнута была единым помыслом — превратить урочище Сырымбет в нечто вроде родового поместья, построить усадьбу с невиданными для степей бревенчатыми домами с русскими резными наличниками на окнах, мечеть при усадьбе и тем сохранить свое влияние на окружающие роды Атыгай и Караул, которых она именует чуть ли не своими подданными. Если вспомнить, как в казахских тогдашних семьях первый ребенок

молодых супругов переходил целиком на попечение родителей супруга, как дед и бабушка непременно нарекали себя родителями, а истинные родители переходили в разряд брата и женге (жена старшего брата), как этот баловень с поощрения нареченных «родителей» рос, не признавая и даже всячески пренебрегая настоящим отцом и настоящей матерью, и как в этом наивном самообмане в патриархально-родовом семейном быту находили своеобразную прелесть, скрашивающую однообразное бытие, то трудно предположить, чтобы, такая бабушка, как Айганым, несмотря на разнообразие ее интересов и деловых соображений, осталась равнодушной к первому внуку от любимого сына Чингиса, от сына, который, может быть, единственный в какой-то степени оправдывал честолюбивые мечтания стареющей властолюбивой матроны». «У тебя (у вас) нос не дорос, чтобы такого сына иметь», — сурово заявляла иная бабушка-родительница, держа на коленях или за спиной внука, сыну или снохе, или обоим вместе, при их попытке приблизиться к ребенку, заявляла вполне серьезно, и юмор положения можно было заметить лишь по легкой улыбке отвернувшихся истинных родителей. Айганым, бабушка Чокана, имела все права к такому заявлению. И можно полагать, что чисто патриархально-казахскими правами на внука Чокана Айганым пользовалась широко, ибо, к тому же, эта умная, наблюдательная женщина не могла не заметить рано проявившиеся способности сметливого, сообразительного мальчика. К такому суждению нас склоняет и то, что, по-видимому, семья Чингиса, вопреки вышеизложенным предположениям Н. Г. Потанина, большую часть жизни проводила в Сырымбете. Сохранилось свидетельство А. А. Сотникова, омского чиновника, ученого-ориенталиста, сыгравшего большую роль в становлении Чокана, о том, как он пребывал летом 1842 года в ауле Чингиса близ Ишима. Последнее означает, что аул Чингиса находился возле урочища Сырымбет. А. А. Сотников описывает ночь, проведенную в юрте Чингиса, при свечах, привезенных нарочным с бумагами из приказа. Из какого приказа не указывается. Думается, что нарочный мог привезти бумаги для Сотникова, чиновника особых поручений из Омска, из ближайшего Кокчетавского приказа, или же из более дальнего Кушмурунского приказа для старшего султана Чингиса. Последнее вероятнее всего, так как трудно предположить, чтобы привозились бумаги для Сотникова, находившегося для сбора этнографических сведений. Надо сказать, что ага-султаны редко сидели в своих приказах-канцеляриях, степные дела решались в степи, и они, эти дела, ожидая решения, следовали часто за кочевками ага-султанского аула. Так, отец Абая Кунанбай, будучи ага-султаном Каркаралинского округа,

управлял округом, живя, как правило, в родном ауле, в 200-300 км. от центра округа Каркаралинска, управлял примерно так, как римские проконсулы управляли вверенными им провинциями, сидя в Риме. Отсюда можно полагать, что ага-султан Чингис летом, когда сообщение упрощалось, жил в основном в родном Сырымбете и для Чокана наступала привольная жизнь возле бабушки Айганым. Вполне может быть, что она оставляла его в иные годы вообще у себя.

На Айганым хан Вали женился, будучи в преклонном возрасте. «Дед Чокана Вали-хан, — пишет Н. Г. Потанин, — по семейным преданиям, не отличался способностями народоправителя... Вали-хан любил жуировать и был поклонник прекрасного пола...» Говорят, что в один из ханских выездов в аулы родов Атыгай и Караул, ханское око, недреманное к женским прелестям, заметило отроковицу-тростиночку и опытным взглядом оценило, какой пышный расцвет красоты обещают неземное изящество ее движений, влажный блеск больших черно-смородиновых, притягательно-бездонных глаз, вишневая алость четко очерченных губ, хранящих за нежным створом жемчужный ряд зубов, а за ними сладчайший, живительный для стареющего августейшего тела нектар, любвиобильное ханское сердце необратимо вздрогнуло...

У хана Аблая, отца Вали-хана, было двенадцать жен. Это были дочери казахского, киргизского, кашгарского, каракалпакского, калмыцкого и др. ханов, нойонов и беков. От них он имел 30 сыновей и 40 дочерей. Речь идет, естественно, о выживших в суровой обстановке кочевой жизни. Некоторые акыны атыгаевско-карауловского родов, в частности, знаменитый Шал-акын, обращаясь к Кенесары, говорил:

Я, если хочешь знать, в том роду рожден,

Что выдал деду твоему шесть красавиц-жен.

Но, по-видимому, в счет шли только жены-принцессы крови. У менее удачливого, и менее удачного сына Аблая Вали-хана жен было много меньше — не то пять, не то шесть. Айганым была последней. У властного, волевого и неколебимого Аблая женщины в делах никакой роли не играли — они служили ему для отдохновения тела и души и являлись временным жилищем его детей. Не таким неподатливым был Вали-хан. У тоненькой тростиночки с большими черными глазами и нежно-алыми губами, после того, как она освоилась и трезво, деловито разобралась в обстановке, изучила мужа, проявились непокорно-твердый нрав, расчетливый ум, честолюбивое сердце. Молодая токала (младшая жена), подчеркнуто сохраняя почтительное поклонение к старшим женам хана и неизменное уважение к их семьям, очень скоро склонила безвольного супруга к перенесению ханской ставки в Сырымбет, в родные кочевья Айганым, с оставлением, естественно, се-

мей старших жен с их взрослыми детьми в зимовках и кочевьях старой ставки в Кызыл-Агаче, что возле нынешнего курорта Боровое. Переход женской ставки в Сырымбет означал уже единоедержавное правление степями Айганым от имени хана Вали. Говорят, что Айганым использовала свое влияние на хана разумно и тем спасла ослабленного умом супруга от многих неразумных действий, которые могли быть следствием подстрекательства старших сыновей и родственников, считавших лишение их ханских и султанских привилегий узурпацией со стороны белого царя и мечтавших о воскрешении славы хана Аблая. Словом, об Айганым в степях сохранились добрые воспоминания, как о разумной и справедливой владелице. Она, по-видимому, была единственной среди потомков Аблая, кто проявил при лишении династических прав в высшей степени благоразумие и дальновидность — она немедленно объявила себя сторонницей новых обстоятельств и строго наказала сыновьям придерживаться этой линии. Она, может быть, была единственной, кто понимал, что исторические обстоятельства сильнее спесивых желаний и стремление иных неумных и недальновидных представителей высшей степной белокостной знати и что извлечь пользу из этих обстоятельств можно, лишь покорившись им.

В архивах сохранились свидетельства того, как эта дама стремилась упрочить свое положение, добившись разрешения царя построить усадьбу, мечеть при усадьбе, делала попытки заняться земледелием. Надо было иметь изрядную настойчивость, упорство и, наконец, мужество, чтобы выдерживать ужасно медленное, скрипучее медленное вращение заскорузлой царской канцелярской машины: первую просьбу Айганым вложила в эту машину, по-видимому, в 1822 году, поскольку 12 августа 1823 года Западно-Сибирский генерал-губернатор Капцевич направил в Петербург, в так называемый Сибирский комитет «покорнейшую просьбу [№] исхода-тайствования разрешения на постройку для постоянного пребывания вдовы хана Вали Айганым и семейства ее небольшого дома и при оном мечеть для богослужения в пять тысяч рублей. Эта просьба была «удостоена высочайшего утверждения» в 1824 году. После такового «утверждения» машина продолжает совершать медленные и холостые ходы, десятки бумаг ходят в Петербург и обратно в Тобольск и Омск с выяснением причин неисполнения, неполного исполнения и в каждой бумаге фигурируют назначенные пять тысяч рублей и, наконец, 5 июня 1829 года Омское областное управление рапортует Западно-Сибирскому генерал-губернатору, что еще необходимо и внутренность выстроенного дома оштукатурить; направить у некоторых печей выбившиеся части...; приделывать ставни к окнам», и, главное, «не по правилам поставленную ме-

четь оборотить в надлежащую сторону, для чего нужно сломать ее до основания». Только самой Айганым, наверное, было известно, сколько вдова владетельного хана испытала унижений и оскорблений, сколько она вытерпела от чиновничьего крючкотворства и равнодушия, от непременного желания всех, кто прикасался к делу, погреть руки на высочайшей милостью пожалованных, но так и полностью не использованных пяти тысячах: построены были дом и мечеть. Остальные дома и пристройки в усадьбе, которые известны читателям по известному рисунку Чокана Валиханова, были выполнены после. А. К. Гейнс, видевший эту усадьбу в 1865 году, пишет, что то были «...несколько домиков во вкусе наших помещиков средней руки, а посередине — мечеть». Но, как бы то ни было, усадьба Айганым была первой цивилизованной постройкой во всей Средней и Большой ордах и она являлась благотельным примером, демонстрирующим преимущества оседлой жизни. Это был прямой результат дальновидного сближения Айганым с русскими, особенно в виду того, как другие аблаевичи, избравшие этот путь, сеяли несчастья, смуты и трагедии. И, наконец, само появление в семье Чингиса такой личности как Чокан Валиханов, есть следствие упорного стремления Айганым быть вблизи русских и использовать для жизни плоды цивилизации.

И все же не такова была Айганым, чтобы сосредоточить честолюбивые помыслы свои в пределах урочища Сырымбет. В 1828 и 1829 годах она настойчиво добивается отправления ее «...с десятью лучшими и почетнейшими людьми к высочайшему его императорского величества двору, где бы... имела неоценимое удовольствие при лицезрении августейшего монарха засвидетельствовать изустную приверженность и доставить требы подвластного моего народа...» Не имея никакой действительной власти она продолжает говорить о «подвластном ей народе», а к требам этого народа она относит необходимость царского указа, чтобы степные округа и волости управлялись только султанами. Желание Айганым «лицезреть августейшего монарха» было под вежливым предлогом отклонено, а относительно «треб» было дано указание впредь на должность ага-султанов и волостных управителей утверждать лишь лиц ханской крови. Это уже означает, что Айганым довольно действительно вмешивалась в политику царской администрации. В 1831 году она обращается с просьбой выехать в Омск ради устройства сына Чингиса на учебу, на что областной начальник генерал-лейтенант и кавалер де Сент-Лоран «изъявляет свою радость» и дает распоряжение обеспечить ее и сопровождающих ее лиц прогонными деньгами. В Омске же она выражает желание лицезреть лично Западно-Сибир-

ского генерал-губернатора Вельяминова и тот же де Сент-Лоран, «не имея права отказать в ее о сем настоянии» (Айганым, по-видимому, умела располагать к себе), направляет ее в Тобольск.

Айганым была, пожалуй, единственной женщиной в казахских степях до революции, столь масштабно действовавшей в начале от имени хана Вали, а потом, после упразднения ханского правления, от имени ханской семьи и «подвластного ей» казахского народа, и с ней сибирская администрация не могла не считаться, поскольку в степях все же в высокое предназначение чингизидов еще верили, и вдова хана имела определенное влияние на степные дела.

Айганым была, по-видимому, многогранно талантлива. Сохранилось предание о знаменитом надгробном плаче-жылау, импровизированном ею в дни похорон любимого сына Мамеке (старший брат Чингиса) в 1831 году и удивительно проникновенно выразившем безысходное горе матери. И, может быть, она не проявила себя как акын-импровизатор лишь потому, что в степях в то время к сочинителям-импровизаторам знать относилась так же высокомерно и пренебрежительно, как дворянство относилось ко всем сочинителям до Пушкина и даже в пушкинские времена. При такой склонности души Айганым, думается, не могла не ценить степных златоустов, замечательных природных мастеров устного слова, и, надо полагать, что они, эти мастера, с именами которых мы встретимся далее, не могли не найти в ней гостеприимную и приветливую хозяйку, внимательного и понимающего, а иногда, может быть, и поэтически восторженного слушателя. Это означает, что аул Айганым не был холоден и чужд степному искусству.

Можно полагать, что бабушка Айганым производила впечатление на маленького Чокана не только как рассказчица старинных былей-небылиц, но и как властная, твердая в своих решениях, пользовавшаяся всеобщим послушанием хозяйка большого аула младшей ветви валихановичей. Можно полагать также, что Чокану она не только занятно повествовала о деяниях прадеда Аблая и его богатырей, пересыпая свой рассказ стихами, пословицами, поговорками, которых она знала бесчисленное множество, но и о том, как деда Валихана его султаны и старшины поднимали на белой кошке и, как торжественно утверждали от имени белой царицы в ханском сане. Сохранилось длинное предписание по «обряду торжества по случаю утверждения Вали-ханом Среднего жуза и приведение его к присяге», состоящее из четырнадцати пунктов, где детально расписаны и как должны вести себя принимающие от имени ее императорского величества правящий

должностью Уфимского и Сибирского генерал-губернатора генерал-поручик и кавалер Якобий, и командующий Сибирской линией генерал-поручик Агарев, как и в каком порядке офицеры должны встретить, оказывая всяческие почести, ханскую карету, запряженную шестеркой, в каком строе должны быть выставлены драгунские эскадроны со знаменами, и в какой момент должны быть произведены салютация из всех пушек, а военные команды и все караулы должны сделать на караул с барабанным боем при звуке труб и литавр После обряда приведения к присяге на коране, надевании шубы и шапки (особо отмечено, что последнюю подает сам генерал-губернатор), а также целование и поднятие над головой сабли, т. е. принятие предметов, ее императорской особой милостью пожалованных, наступал последний пункт торжества. «...Для неувядаемой славы благодетельной монархии и во изъявление благодарности за материнское ея императорского величества попечение о благоденствии сей акт ознаменован быть выстрелами из ста орудий и ружей... (тридцать пушечных выстрелов) при звуке труб и литавр с барабанным боем... Между тем в доме правящего должност генерал-губернатора приготовлен быть имеет стол, за которым хан с султанами и лучшими старшинами, с генерал-поручиком и бригадиром также и штаб-офицерами кушать изволят... При столе произведены будут пушечные выстрелы при питии здоровья: ея императорского величества, верноподданных ея императорского величества, новоутвержденного Вали-хана со всем вверенным ему народом». Таким образом, утверждения, невиданным для степных жителей, хитрая царица демонстрировала перед среднеордынским владельцем силу и могущество империи и в то же время вольно или невольнo возвышала роль хана перед склонными к непокорности султанами и старшинами. Воспоминание об этих торжествах у бабушки Айганым, может быть, заканчивались грустным вздохом при невольном сопоставлении столь величавого былого с тем, как восемь лет власти строили домик и мечеть вдове владетельного хана, и, может быть, вздох этот наводил быстро взрослого мальчика на различного рода размышления. И возможно, что она, заметив, недетскую серьезность, набежавшую на лицо внука, тут же утешала его, говоря, что в таком бревенчатом доме, в каком живут они, не жил никто из его предков и что такая жизнь есть намного большее благо, чем все почести, оказывавшиеся ранее султанам и ханам, что намного лучше, интереснее быть просвещенным человеком, как отец его Чингис, чем быть малограмотным и темным владельцем степей. Она, побывавшая в Омске, в Тобольске на приемах во дворцах сибирских начальников, видевшая удивительные плоды цивилизации и, должно быть, рассу-

дившая практичным земным умом, что все это дело рук человеческих, земным умом, говорила, наверное, обо всем этом красиво, увлекательно и убежденно. И можно не сомневаться, что многое из того, что приобрел мальчик Чокан душою, умом и сердцем до двенадцати лет, связано было с колоритной фигурой бабушки Айганым.

Отец Чокана Чингис был известным в степях человеком. Сохранилась фотография, где запечатлен сидящий на стуле величавый старик с редковатой белой бородой и усами в парадном полковничьем мундире с густыми эполетами, в высокой папахе со свисающим чуть вперед плюмажем. Полковник, по-видимому, не отличался ростом: сабля в красиво инкрустированных ножнах коснулась пола между ног, а рукоять ее прильнула почти к плечу. На груди, как можно судить по послужному списку, золотая медаль на Александровской ленте и орден св. Святослава второй степени. На правильном, красивом лице с тонкими очертаниями прямой нос и чуть косящие глаза. Обращают внимание перстни с крупными, и, должно быть, дорогими камнями на правом указательном и левом безымянном пальцах аристократически маленьких рук; обращает внимание потому, что в степях ношение колец, перстней мужчинами, особенно пожилыми, не было принято. Можно представить, какое внушительное впечатление производил этот человек на темных степных жителей в своем полковничьем мундире, с этими волшебносветящимися перстнями на пальцах в сочетании с ханским происхождением и знанием русской грамоты и русского языка, хотя он и был всего лишь старшим султаном одного из многих округов, на которые разделились по «Уставу о сибирских киргизах» степи, только что считавшиеся единодержавным владением отца Чингиса — Вали - хана

Султан Чингис Валиханов в народной молве характеризуется как человек образованный, многознающий и дальновидный. И, по-видимому, характеризуется так не без оснований. В то смутное время, когда представители торе-белокостной знати, большею частью недовольные новой политикой царской администрации, теряли авторитет и влияние в степях, надо было иметь достаточно такта, ума, выдержки и изворотливости, чтобы прослужить в должности ага-султана почти двадцать лет, переизбираясь через каждые три года. После освобождения от должности Кушмурунского ага-султана, он продолжал служить советником в областном управлении и, далее, ага-султаном Кокчетавского округа. Сохранились архивные и литературные источники, из которых видно, что Чингис, будучи знатоком жизни, быта, обычаев, традиций, хозяйства, истории, устного творчества своего народа, оказывал большую

услугу русским ученым в изучении казахского края. Он, по примеру своей матери Айганым, в Кушмурунском округе пробовал заниматься хлебопашеством; возвел школьный домик, дом для жилья — это были, конечно, не ахти какие строения, но все-таки и через них наглядно демонстрировались преимущества оседлой жизни.

В одном из сохранившихся документов сказано, что султан Чингис Валиханов русским языком «владел порядочно». Это, наверное, означает, что владел не в таком совершенстве, чтобы не приписать слово «порядочно». Если проследить за обучением Чингиса в русской школе, то можно сделать вывод, что он русским языком «порядочно» стал владеть, благодаря своим большим способностям. В 1830 году Айганым обращается к Омскому начальству, что ее сын Чингис Валиев желает заняться по-русски читать, писать и политике», а в письме к Сент-Лорану по этому же поводу пишет: «...дети мои все обучены татарской грамоте определенным ко мне бывшим генерал-губернатором Капцевичем в муллы Кут-Мухамметом Иманкуловым». Несмотря на полученное разрешение, отдавать своего сына на обучение в Омск, ханша не торопилась и лишь через год, приехав вместе с сыном в Омск, она ходатайствует принять в азиатское училище вместе с Чингисом «пасынка ее Тореджана..., и, сверх того, для товарищества им сына находящегося при ней муллы, Тобольского татарина Валитши Уразматова-Мухамед-Галия». Все трое были приняты на казеннокоштное обучение. И вдруг оказалось, что обучаются в Омске только Тореджан и сын татарина и ввиду этого областной начальник обращается в Кокчетавский приказ: «...убедить ханшу Валиеву, дабы она не замедлила прислать сюда сына своего Чингиса...». Это было в июле 1831 года, Айганым не спешит отправить своего сына, «зрачка своих глаз» на учебу и в конце октября того же года Омский начальник снова пишет в тот же Кокчетавский приказ, что, «...ханша Айганым уведомила... что сын ее Чингис имеет быть отправлен в Омск того же сентября, однако же сего не исполнила». Через год опять оказия. Айганым представляет в Кокчетавский приказ справку от 15 апреля 1833 года: «...Находящегося в Омском азиатском училище сына моего Чингиса Валиханова в прошлом 1832 году мои тюленгуты (бывшие дружинники хана — (Б.Е.) дурным своим нравом сманили и без позволения генерала привезли домой». Обучавшийся таким образом Чингис через год после представления этой справки в 1834 году оказался в должности ага-султана.

Айганым, конечно, стремилась к просвещению и всею душой стояла за то, чтобы сын получал русское образование и

научился политике», но она была патриархальной матроной и в ней нет-нет да и проявлялась этакая госпожа Простакова с чисто барской жалостью и барским попустительством к любимому дитяти. Сказывалось и то, что сама Айганым по-видимому, систематически не обучалась даже мусульманской грамоте, и, хотя, может быть, не раз назидательно повторяла известную поговорку «обучаться наукам, что иглой колодец копать», все же не очень осознавала, что учеба требует упорства, методичности, непрерывности и, наконец, жертв. Естественно, что при таком подходе к обучению великовластный Чингис (ему было девятнадцать лет, когда он поступил в азиатское училище) по «детскому неразумению» ни с того, ни с сего то сам оказывался в ауле, то вредные тюленгуты его сманивали, словом, нередко болтался на воле, оставив учебу на долю пасынка Тореджана и сына татарина. И не мудрено, что султан Чингис мог говорить по-русски не более, чем «порядочно».

Надо сказать, в тогдашних условиях в казахских степях люди, считавшиеся образованными, были образованы относительно, поскольку почти не было таких, кто получил сколько-либо систематические светлые знания, и то, кто достигал кое-каких успехов в умственном развитии, в основном добивались этого за счет любознательности, слабо удовлетворяемой условиями степной жизни и малоемкой из-за непрочности и слабости основ, способствующих освоению нового. Все это полностью относилось к Чингису, который, став сразу же после окончания училища ага-султаном, наверняка, не имел в достаточной мере ни времени, ни книг, ни исходных основ знаний, поскольку он даже положенные три года обучения в Омске использовал не полностью. Да и сам уровень обучения в казахьем училище был очень низок. «Часть учителей, — пишет Г. Н. Потанин, — особенно в низших классах, была урядниками; обращение с воспитанниками было грубое; в классах все было основано на долблении от сих до сих; за неуспехи и шалости сильно пороли». Следовательно, трудно говорить о сколько-нибудь серьезных достижениях этого человека в самообразовании, если не брать в расчет опыт жизни способной и думающей личности. Мать Чингиса Айганым и многие другие понимали необходимость русского образования в том смысле, что оно давало преимущества в преуспевании в степной жизни. Был ли Чингис Валиханов выше всех утилитарных целей, пришел ли он в своем интеллектуальном развитии к тому уроку, чтобы воспринимать обучение детей более всего, как способ их духовного облагораживания, нравственного возвышения, приобретения тяги к мыслительному, умственному труду, понимал ли, наконец, этот султан, что мусульманская схоластика — это еще не настоящие знания? На эти вопросы трудно ответить. Из-

вестно лишь одно, что из семи его сыновей (не говоря уже о четырех дочерях) четверо остались на уровне татарско-мусульманской грамотности, преподанной аульными муллами, и, надо думать, не от того, что у султана не хватало средств на обучение детей.

Чингизиды в народе характеризуются, как люди, сочетающие холодность рассудка с жестокостью и необузданностью страстей. Чувства, напоминающие жалость, сострадание, сопереживание, у них относились больше к недостаткам, чем к достоинствам. Вряд ли эти черты проявлялись в Чингисе так обнаженно, как у его непросвещенных предков. Будучи человеком любознательным и способным, он читал и знал столько, сколько позволяли условия, а это не могло не иметь облагораживающего влияния на его нравственные принципы. Кроме того, ввиду особых свойств царской петербургской бюрократии, не могшей терпеть вблизи себя таланты, ум и человечность, лучшие представители русской интеллигенции центробежными силами этого нетерпения выталкивались на окраины империи, и таких людей было немало в Омске. Можно полагать, что личное общение Чингиса с этими истинно образованными, истинно гуманными людьми, начатое в годы учения в Омске, и продолженное в годы ага-султанства, естественно должно было смягчить в нем черты, характерные для его предков и, может быть, для некоторых из его родичей-современников.

В те времена, о которых идет речь, в казахских степях иной акын-импровизатор, не лезущий в карман за рифмованным словом, мог, смотря по обстоятельствам, столь же цветисто похвалить, сколь и мрачно охать. В сохранившихся устных источниках наряду со стихами, где султан Чингис представляется как благоразумный, справедливый властитель-администратор, имеются и такие, где он называется жестоким обирателем народа. Не думается, что этим чингизидом владели особо сентиментальные эмоции при обращении с простыми людьми. Однако можно полагать, что Чингис Валиханов не обладал той волчьей алчностью и неприкрытой склонностью к стяжательству, какие были характерны для чернокостной знати, выдвинувшейся в связи с падением престижа султанов. Во всяком случае, в импровизациях акынов, столь падких к восхвалению богатств знати и баев, нигде не встречается упоминание о табунах Чингиса. А эти табуны у человека, прослужившего чуть ли не полвека на самых ответственных (речь, естественно, идет о должностях, дозволенных для «инородцев») степных должностях, могли бы накопиться.

Вызывает удивление, что именно христианнейший генерал-губернатор Капцевич прислал муллу-татарина в аул Айганым

для обучения ее детей. Это Капцевич, по свидетельству А. И. Герцена, любил все «приводить во фрунт и строй», и, может быть, вбивание заветов Аллаха и его пророка Магомета в головы «инородцев» было одним из методов «приведения во фрунт и строй». Как бы то ни было в ауле Айганым росли истинно правоверные мусульмане, не пропускавшие пятикратного коленопреклоненного чтения корана, и среди них был султан Чингис.

Правоверный мусульманин, тупо зубривший с раннего детства коран и в то же время образованный человек с любознательностью, проснувшейся и поддерживаемой от соприкосновения с русской культурой; добросовестный царский полковник и в то же время сын хана, родившийся во время потери аблаевской династией культа всеобщего поклонения и повиновения, во время разлада, разброда и вырождения; лучший знаток истории, этнографии, быта, культуры и словесного творчества своего народа и в то же время рассудительный, холодный, твердый в своих намерениях администратор, умевший ладить как с своенравным начальством, так и с не менее своенравной степной знатью; чиновник, представитель самодержавной демократии, хорошо знающий цену бумаги с ее суконно-канцелярскими, тяжеловесными оборотами, бумаги вложенной в царскую административную машину, и в то же время остроумный степной оратор, умевший тонко чувствовать силу слова и уместно пользоваться любовью своего народа к образности и меткости речи для того, чтобы решать запутанные степные тяжбы и споры одной поражающей воображение слушателей фразой — вот каким представляется, по имеющимся сведениям, отец Чокана султан Чингис Валиханов.

У Чингиса Валиханова есть одна биографическая особенность, благоприятно сказавшаяся на цельности развития психологии его гениального сына — он имел только одну жену — Зейнеп, мать Чокана и других его детей. Он был, пожалуй, в этом отношении единственным представителем белокостной и чернокостной знати, любившей, как тогда говорили, «обновлять постели». Чокан, таким образом, не испытывал все ужасы зависти, раздоров, ревности полигамной семьи, как это случилось с великим Абаем. Умерла Зейнеп, когда Чингису было за семьдесят. Старый султан не вынес одиночества и женился во второй раз... при этом, говорят, наставительно сказал молодой жене: «Ты прости мне мою старость, я буду прощать тебе твою молодость». Он, по-видимому, любил ясность в отношениях и не мог без особой надобности фальшивить.

Занимался ли Чингис воспитанием своих детей? Думается, что не очень много. В степях не было принято со стороны взрослых особо обращать внимание на детей, их воспитывал мулла и воспитывали обстановка и природа. Но любознатель-

ному и впечатлительному Чокану достаточно было само присутствие такого влиятельного, авторитетного, сурового отца, к которому все окружающие относились с почтением и поклонением, ловили каждое слово его и это каждое слово с немаленьшей чуткостью ловил и его сын; из поведения отца и его интересов в душе мальчика, наверное, оставались, запечатлевались штрихи, которые потом переварятся в чаше беспощадного и дотошного самоанализа. Может статься, при верховых разъездах по степным делам за отцом ага-султаном увязывался мальчик, и тогда отец, не позволявший себе переступить белокостный этикет и приблизить для бесед сопровождавших на почтительном расстоянии тюленгутов, скрашивал скуку бесконечно вьющихся степных троп рассказами из истории народа, его правителей, из опыта собственной жизни, приводил примеры остроумия и находчивости в состязаниях акынов-импровизаторов, и находил в мальчике внимательного слушателя... На этот счет можно лишь гадать. Но, думается, одно верно — Чингис имел несомненное влияние на духовное развитие, на оформление характера и склонности своего сына, может быть, не всегда вполне отчетливо подозревая, на какую разборчиво-благодатную почву ложится все, чем он производил впечатление на этого мальчика, и вовсе, вероятно, не представляя, что, если его имя и будет упоминаться в истории его народа с какой-то долей почтения и внимания, то только в связи с тем, что он является отцом этого шаловливого, заласканного окружающими султанского отпрыска.

Неизвестно, какое место занимала в жизни мальчика его мать Зейнеп. Рассказывают, что это была сильная, волевая женщина. Она, говорят, имела на своего мужа большое влияние и, возможно, этим объясняется, что он не позволил себе иметь токал (младшую жену). Неизвестно, как складывались взаимоотношения между властной свекровью и не очень склонной к покорности снохой, воспитанной в семье сановного Чормана, крупнейшего представителя чернокостной знати, не очень признававшей преимущества белокостного происхождения. Может быть, Зейнеп иногда в порыве желчи по поводу спеси и тщеславия аблайхановского окружения могла, шепелявя сильнее обычного (этот недостаток ее сохранился в памяти потомков), сказать: «Нечего чваниться, у меня брат простого происхождения, а тоже полковник!» Такие или подобные реплики не могли не иметь значения в душе впечатлительного мальчика.

Люди не всегда склонны предавать значение и обращать внимание на знания, приобретенные в детстве. Может быть, в этом нет ничего стоящего сожаления, когда речь идет об обычных смертных. Для выдающихся же личностей впечатления

окружающего мира не бывают мимолетными с самого раннего возраста; они с детства с широко раскрытыми глазами и трепетно-отзывчивым сердцем, поражаясь и радуясь новизне познаваемого, запоминают все и потом, повзрослев, черпают из памяти, как из кладовой, необходимый творческий материал. Чокан Валиханов поступил в Омский кадетский корпус в 1847 году, двенадцати лет. По свидетельству Н. Г. Потанина, он не знал тогда ни слова по-русски. Через шесть лет он вышел из корпуса юношей необыкновенной образованности и начитанности, с несравненным знанием тонкостей русского языка. Русское образование, в освежающие и облагораживающие пучины которого он окунулся, его захватило, заняло полностью. Он в первые два года не выезжал на каникулы. Но откуда такое знание быта, обычаев, верований, искусства, словесного творчества, преданий и исторических сведений у этого оторванного от родных степей с двенадцати лет и, казалось бы, быстро обрусевшего мальчика. Откуда тот едва проступающий эмоциональный колорит, та неуловимая, но чувствуемая заданность в произведениях, где он пишет о своем народе и где самый придирчивый взгляд не мог бы обнаружить отступления от логики фактов? И здесь нельзя не полагать, что Чокан невообразимо много знал уже в эти двенадцать лет. А. С. Пушкин описал в детском стихотворении «Городок» богатую библиотеку отца, в которую он врос с шести-семи лет. У отца Чокана такой библиотеки нет. Но он, сын султана, мог видеть и слышать самых талантливых людей своих степей. И он, как губка, впитывал в себя исторические предания, десятки тысяч строк устных поэтических сочинений, запомнил массу поговорок и пословиц, успел обратить внимание на особенности быта и верований, и все это, войдя в плоть и в кровь, сохранилось в памяти, чтобы потом в руках ученого, вооруженного вполне европейским образованием, подвергнуться научному сопоставлению и анализу и заиграть новыми красками, новым содержанием. Приведем примеры. В одном из своих произведений Чокан тонко разбирает игру на народных инструментах. «Кабыз, — пишет он, — род двухструнного альта, струны делаются из конских волос и играют на них смычком. Кабыз имеет ту разницу: что у него нет верхней деки, корпус имеет фигуру круглую, ручка так вытянута, что струны нельзя к ней прижать, берутся же разные тоны флажолетом. Вообще же это трудный и приятный инструмент». Конечно, так может писать человек, который знает этот инструмент и сам играет на нем. Когда же он мог научиться этому? Только в ауле, до двенадцати лет, ибо в кадетском корпусе он был единственным казаком, и этот степной музыкальный инструмент вряд ли культивировался. А вот музыкально-грамотное, точное описание этого инструмента — это уже

результат теоретических познаний, полученных в Омске. Между тем, игре на народных инструментах в детские годы Чокану было у кого научиться. Кроме степных музыкантов, которые появлялись в ауле султана и по приглашению и без приглашения, и могли жить сколько угодно долго, пока не почувствуют спад интереса к ним или просто, ввиду характерной этим людям непоседливости, не обнаружат в себе охоту к перемёне места, у мальчика рядом жил любимец — дядя Ханкожа, изумительный знаток-исполнитель степных музыкальных кюев-раздумий и композитор. Сохранился портрет Ханкожи кисти Чокана: мужчина средних лет, с красивыми, правильными чертами лица, обрамленного густой короткой черной бородой, переходящей в бакенбарды, и высоким лбом. Большие глаза из-под четких бровей смотрят чуть сурово и изучающе под таким взглядом внутренне сердечные и скромные люди скрывают готовые прорваться эмоции. Может статься, что именно и главным образом от этого красивого и, должно быть, немного не по-султанским отрешенного от земных интересов человека и идет у племянника тонкое понимание музыки. Ведь нельзя же думать, чтобы столь любознательный Чокан не попробовал дядиным смычком воспроизвести слышанные им захватывающе чарующие звуки, и не такова уж натура была у него, чтобы оставить это дело после первых неудач. Во многих своих произведениях Чокан останавливается на известной народной поэме "Козы-Корпеш-Баян-Сулу" — одним из выдающихся явлений казахского народного творчества, значение которого с гениальной чуткостью разгадал А. С. Пушкин. Один из списков этой поэмы во время приезда в Оренбург в 1833 году он взял с собой и собирался напечатать. Об этом Чокан, конечно, не знал, но повесть о степных Ромео и Джульетте, повесть, печальнее которой нет на свете, сопровождала его всю его жизнь. Он знал и записывал несколько его вариантов, в том числе и в исполнении таких выдающихся акынов, как Джанак и Шоже. Надо думать, что источником его неослабного интереса и волнующего внимания к этому казахскому лирико-эпическому сказанию являлись незабываемые впечатления детства, когда мальчик, забросив все детские шалости и игры, замороженно слушал поэму из уст знаменитых певцов-сказителей своего времени.

Зрелый Чокан был выдающимся рационалистом и ввиду этого он плохо верил в существование сверхъестественных сил, скептически относился к положительной роли в развитии общества религиозных верований и уж совершенно мрачные соображения овладевали им при раздумьях о роли в степях его родной веры-мусульманства. О мусульманстве он отзывался как о религии, ...имеющей теологические законы,

основанные на страхе и побоях». О мусульманском духовенстве он пишет: «Вся степь наводнена полуграмотными муллами из татар и фанатическими выходцами из Средней Азии, выдающими себя за святых. Личный интерес заключается в том, чтобы довести киргиз своим влиянием до того слепого изуверства, при котором так легко живется всем этим старцам, паломникам и дервишам»... В других высказываниях имеются краски еще мрачнее. Откуда такая ненависть, откуда такое отвращение к вере Аллаха и заветам его пророка Магомета, к многочисленным отцам-наставителям, поддерживающим и укрепляющим мусульманский дух в степях, у молодого человека, выросшего в правоверной семье, где была мечеть рядом, где учили начинать всякое дело и даже рот раскрывать со словом «бисмилла» («слава аллаху») и где пропуск пятничной молитвы-намаза считался большим проступком перед всевышним? Думается, что семена этого отвращения и этой ненависти уже заложены были в Чокане в том возрасте, когда он еще не знал ни слова по-русски. Если бы Чокан пришел к вышеприведенным выводам путем обычного научного анализа роли мусульманства в степи, не имея детского опыта жизни, связанного с верой в Аллаха, то он, думается, объективно и, может быть, не менее доказательно высказал суждения об отрицательной роли этой религии в степях. И, наверное, через беспристрастно — ученое изложение не прорывались отзвуки когда-то испытанных болей, остатки когда-то выработавшейся в душе желчи. Можно твердо полагать, что истоком горьких, печальных эмоций Чокана являются впечатления детства, когда в ребенка усиленно вбивали неизменные задатки правоверного мусульманина. А о том, как велось обучение в мусульманских школах, насаждавших царским правительством, у тех, кто учился в них, сохранились страшные, кошмарные воспоминания. В этих школах, во всех без исключения, муллы учили таким образом, чтобы правоверные, истинные последователи пророка не знали ничего, кроме того, что они — рабы и еще раз рабы Аллаха и его пророка. Во всех этих школах применялся метод бездумного заучивания наизусть, такого заучивания, от которого тупеет ум и тускнеет любопытство. Розги считались лучшим и неременным оружием для тренировки умственных способностей ребенка, и не было муллы, который не был бы вооружен ими. Это было системой оглушения целого народа. После нескольких лет обучения таким образом большинство детей не добиралось до того, до чего ныне добирается в первые же месяцы обучения любой малоспособный первоклашка. А что говорить о заучивании корана, текст которого не разрешалось переводить, а арабский язык редко знали сами муллы. И вот в одной из таких школ в Кушмуруне или

в Сырымбете учился у муллы-татарина, «присланного генерал-губернатором», мальчик Чокан. Можно представить, какую разницу ощущал одаренный мальчик между тем, что он слышал в юрте от акынов-импровизаторов, певцов остряков, и тем, что он видел в школе, где тупо зубрились арабские буквы и заветы пророка и не произносилось ни одного живого казахского слова. Так у будущего ученого в детские годы наряду с очарованностью радостями жизни, с любовью к истинно доброму и красивому, неосознанно и инстинктивно вырабатывались задатки ненависти и отвращения ко всему противоположному духу свободного развития человека.

Есть одна удивительная особенность в интеллектуальном развитии Чокана. Мусульманская религия, как известно, наложила запрет на живопись, на умение изображать явления жизни и природы кистью и карандашом. И, в силу того, до революции не было ни одного художника-казаха. Казалось, пространственное воображение искусства представлять на бумаге или каким-то другим путем образы виденного было умерщвлено в зачаточном состоянии. Между тем, Чокан Валиханов, пожалуй, единственный казах до революции, проявивший себя, как замечательный художник. Мы теперь имеем целый том рисунков, портретных изображений, жанровых картин и др., значение которых в нашей науке и культуре еще, возможно, недостаточно оценено. «Чокан, — пишет Н. Г. Потанин, — не знал ни слова по-русски и уже тогда любил рисовать карандашом. Дабшинский показывал картину, нарисованную Чоканом уже в Омске; русский город поразил мальчика, и он изобразил карандашом один из городских видов». Этот акварельный рисунок сохранился: на нем изображен дом генерал-губернатора, величественное для того времени здание с часовой и флагом российской империи на крыше; перед домом по тротуару плетется укутанная во что-то неуклюжее дородная обывательница, ведя за руку ребенка; за домом слева в отдалении видны купола и колокольни церкви. Любый выпускник среднего художественного училища мог бы быть автором этого рисунка. Сохранились и другие замечательные рисунки двенадцатилетнего Чокана. Все они нарисованы Чоканом после приезда в Омск. Это и понятно. Чокан, судя по этим рисункам, до этого занимался рисованием, но делал он это втайне, во всяком случае вдали от глаз муллы, и рисунки, естественно, уничтожал. И здесь, в Омске, он, наконец, оказался в условиях, когда мог открыто, не скрывая ни от кого, предаться любимому занятию. Вот отчего появилось несколько замечательных рисунков, датированных 1847 годом.

Взрослого Чокана Валиханова современники часто сравнивали с М. Ю. Лермонтовым. Они, по-видимому, были схожи

и в детском возрасте. Дар к живописи у М. Ю. Лермонтова также проявился рано, но великий поэт создавал свои детские рисунки при всеобщем доброжелательном поощрении и специальном обучении этому, тогда как казахский гений рисовал свои детские картинки, преследуемый муллой, который видел в этом промысел шайтана — злого духа, наущающего несмышленыша на преступное подражание делу аллаха, который один только может создавать мирское разнообразие, никак не должное поддаваться изображению руками смертных. Это означает, что природные дарования, заложенные в этом мальчишке, были настолько могучи и воля к их проявлению даже у ребенка — Чокана была настолько неукротима, что он неосознанно, инстинктивно пробовал свой талант и свои способности во всех областях жизни, где можно было выразить себя, найти себя, и делал все это часто вопреки противодействующей обстановке.

В дневниках Чокана Валиханова, которые он вел в 1856 году, путешествуя в окрестностях Иссык-Куля в Киргизии, есть такое примечательное место. «Мы приближались к самой трудной тропинке, которая должна была идти по самому краю отвесного обрыва саженной на сорок высоты. Еще не доходя до страшного места, случился со мной казус. На дороге лежала огромная еловая колода. Я пришпорил лошадь. Лошадь поднялась на дыбы, но задела копытом дерево и упала. Силою падения меня выбросило в сторону, и я стал на ноги. Лошадь же, потеряв равновесие, рухнула вниз по обрыву, я только мог услышать глухой рокот и только увидел свою лошадь в реке, где между камней торчала голова и седло. К счастью, обрыв был отлогий, и лошадь, покотившись 30 саженной, осталась жива. Случай этот имел хорошую сторону — нет худа без добра, за мной он упрочил в мнении киргиз смелость и ловкость». В Омском кадетском корпусе обучали гимнастике, фехтованию, верховой езде. Но можно полагать, что, если бы Чокан не испытал в детстве вольную жизнь степей, требующую даже для детей физической выносливости, жизнь, так импонирующую его живой, непоседливой, всеулавливающей натуре, если бы он не вырос в условиях, где, по выражению Н. Г. Потанина, «сломя голову, скакал верхом на лошадях по степи, принимал участие в соколиной охоте», возможно, ученый не получил бы такого физического развития, которое проявилось в описанном случае в киргизских горах и о котором сам Чокан пишет с присущей ему иронией.

Таким приблизительно представляется детство Чокана Валиханова. Он в этот ранний период своей жизни получил сполна все, что могла дать обстановка и могла поучить его восприимчивая натура. С этого недюженного для мальчика из

степей и юрт уровня физического и духовного развития он окунулся в новый мир очарований, в мир знаний, в мир книг и умственных напряжений, в мир высокообразованного общества.

Вероятно, у человека, который с детства воспитывается в среде, где суждено ему получить образование и провести всю жизнь, даже самые благоприятные впечатления детства не имеют такого накладывающего свою особую тональность на все будущее своеобразие, как у Чокана Валиханова. Ведь жизнь Чокана складывалась как бы из чрезвычайно полярных влияний, разделенных резкой чертой. Родные, любимые степи, а также полюбившийся цивилизованный город; земная, доступная порою наивная мудрость степей и логически изощренная утонченная мудрость русских книг; степная простота и непосредственность выражения чувств, неумение сдерживать их и язык начитанного и развитого человека, натренированный к тому, чтобы без необходимости не раскрывать мысли и переживания; степные каноны, утверждавшие умственное превосходство предков, и русское знание, призывавшее к покорению невиданных для предков интеллектуальных высот, — из гениального неповторимого синтеза этих контрастных впечатлений и опыта жизни выработались, надо полагать, характер и духовный облик казахского юноши и в этом заключался секрет его неотразимого обаяния, притягательной колоритности его фигуры, несравнимой своеобычности его блестящего остроумия.

Незримые, но крепкие, неразрывные нити связывают людей, как современников, так и разных поколений, когда близки народы, которых они представляют. Известнейший советский академик, геолог и географ Владимир Афанасьевич Обручев считал Григория Николаевича Потанина своим учителем. В последние годы жизни Г. Н. Потанин, всею душой любивший Сибирь, обосновался в Томске, где находился и Обручев В. А., будучи одним из организаторов Томского химико-технологического (ныне политехнического) института. В. А. Обручев в двух книгах подробно описал жизнь, научную и общественную деятельность своего учителя. Многие В. А. Обручев воспроизводил по живым следам долгих бесед, темы которых для них, страстных путешественников по неизведанным краям, исколесившим и исходившим вдоль и поперек Центральную Азию, были неисчерпаемы, полны взаимного и неостывающего интереса. Благодаря этому мы имеем сейчас достаточно подробные сведения об Омском кадетском корпусе, где обучались Чокан Валиханов и Григорий Потанин, не только по воспоминаниям самого Г. Н. Потанина, но и по описанию академика В. А. Обручева. По-видимому, старый этнограф и путешествен-

ник не раз с чувством рассказывал своему младшему соратнику о друге Чокане и тепло этих воспоминаний передалось В. А. Обручеву, ибо дружба двух отроков-кадетов обрисована владелившим недюжинным писательским талантом академиком образно и с большой задушевностью. Видно, что академика растрогала и покорила эта преданность памяти друга и сама эта дружба, которая развилась и окрепла в далекие до-революционные времена при самых неблагоприятных обстоятельствах для подобных взаимоотношений. Не следствием ли этого в какой-то степени являлись особые теплота и сердечное внимание со стороны маститого патриарха русской науки, которые неизменно проявлял он в последние десять-пятнадцать лет своей жизни к первому академику-казаху Канышу Имантаевичу Сатпаеву.

Вот как описывает В. А. Обручев распорядок жизни в Омском кадетском корпусе в те годы, когда учились Чокан Валиханов и Григорий Потанин. «... Утром детей будили до рассвета. Накинув серые шинели, они строились во фронт и пели утреннюю молитву; затем их вели через двор в столовую, где они получали по куску серой булки. Каждая круглая булка была разрезана на четыре части крест-накрест. Служитель, несший десяток таких булок в левой руке в виде колонки, поднимавшейся до его лба, бежал вдоль столов, за которыми сидели мальчики, и правой рукой разбрасывал куски по столам. Мальчики подхватывали булки, разрывали на четыре части и ели. Четвертушка серой булки и составляла весь завтрак, после которого дети шли в классы, где занимались три часа с одним перерывом. Потом обедали. На обед были одни и те же два блюда — щи из кислой капусты и каша с маслом... После обеда еще три часа шли занятия. День кончался ужином из каши с маслом и кружки кваса».

Как вел себя в стенах каменного дома привыкший к бесконечным просторам степей маленький Чокан, как подчинился страшно жестокому порядку корпуса этот забалованный степной барчук, не имевший и понятия о том, что когда-либо может наступить для него такое время, когда он, рожденный, казалось бы, для того, чтобы ему во всем потакали, все ему угождали, очутится в условиях, напоминающих те, о которых рассказывал мулла и в которых суждено пребывать всем грешным и неправовверным в потустороннем мире? Как отразилась на психологии мальчика эта жестко регламентированная и нетерпящая отклонений жизнь с надоедающими кусочками булочки, с кашей, кислыми щами и квасом, жизнь, не имеющая ничего общего со степями и юртой, когда он мог сколько угодно спать и нежиться в постели, играть в асыки и мотаться на лошади, участвовать вместе со взрослыми в травле степных

зверей, ночи напролет слушать акынов, сказителей и домбристов и привередничать при принятии пищи, требуя вкусного и сладкого?

Существует искушение, по которому двенадцатилетнего Чокана хочется изобразить овладевшим нестерпимой жаждой знаний и рвущимся в город, в кадетский корпус для того, чтобы удовлетворить свою неумную любознательность. Конечно же, жажда знаний и любознательность были природными и неотъемлемыми свойствами натуры Чокана, но вряд ли из этого должно вытекать, что мальчик, выросший в ауле в беззаботном общении с окружающими, с природой, осознавал в себе эти отличительные качества и в соответствии с этим осознанием проявлял какую-то последовательную инициативу. Может быть, он и увлекался рассказами о том, что в русских городах человек становится многозначущим и что, только получив русские знания, можно, став взрослым, иметь золоченый полковничий мундир и золоченую саблю, как у отца. Но логично ли полагать, что эти экзотические для детского воображения перспективы увлекали его настолько неизменно и последовательно, чтобы он мог сознательно обуздать свое маленькое, трепетное сердце и с каменным лицом покинуть тот мир, в который он врос с молоком матери и неотъемлемой частью которого себя чувствовал. Самый младший брат Чокана Кокиш, умерший сравнительно недавно, в двадцатых годах, рассказывал Сабиту Муканову нечто обратное. Мальчик, заслышав, что отец хочет повезти его в далекий-предалекий Омбы, в который изредка ездит сам, и оставить там учиться, убежал из дома и чуть не два дня прятался в прибрежных кустах тальника. Весь аул сбился с ног, ища его, пока Чокан, не выдержав, по-видимому, голода или набравшись страха за проведенную в одиночестве ночь, не появился в ауле сам. Может быть, ему бы и хотелось посмотреть на это чудо-аул, называемый городом, увидеть как живут тысячи людей в одном месте и, не помещаясь в деревянных домах, строят, наставляя один на другой, другой на третий, каменные дома, но перспектива остаться там почти навсегда его нисколько не увлекала и не радовала. Его уговаривали, но он вместо того, чтобы сесть в повозку или на оседланного для него коня, бежал за юрту. Чингис, потеряв терпение, грозно повелел поймать и связать его. И тогда до этого молчавшая мать спокойно, но твердо сказала: «Не делайте так. Он умный мальчик, сам сядет в повозку!». Мальчик, насупившись, безнадежно остановил свой взгляд на матери, как будто говоря: «И тебе меня не жалко!» и забился в угол повозки. Зейнеп, большой выдержки, дала волю материнским слезам только тогда, когда муж и сын в повозке и сопровождающие их верховые с оседланными запасными конями для султана-отца и султана-сына на поводу отъехали от аула.

В Омске султан остановился в доме чиновника генерал-губернаторской канцелярии Дабшинского, давнишнего друга, знакомого еще со времен учебы Чингиса в Омске. Дабшинский прекрасно владел казахским языком, работал переводчиком, и именно такой человек был нужен Чингису для введения не знавшего ни слова по-русски сына в русскоязычный мир. Договорившись с омским начальством об устройстве сына на учебу и попросив Дабшинского отвести Чокана в условленный день в корпус, собрался было ехать, но не тут-то было; мальчик, свернувшись в жалкий и молчаливый комочек в углу повозки, не отвечал ни на какие уговоры. Чингису снова пришлось повелеть тюленгутам: «Отнесите его в дом». И тогда Чокан вскочил, зло взглянул на отца и, нахохлившись, быстрыми шажками ушел в дом. Уехал Чингис, но в сердце его было тревожно: слишком несчастным выглядел мальчик, соскочивший с повозки и ушедший в дом, в ту комнату, где они жили вдвоем и теперь он оставался один. Но эта тревога не сказалась на решении учить Чокана в кадетском корпусе. Решение было твердым, окончательным, ибо помнил, как из-за материнской жалости к нему, сам он учился нерегулярно, не дотошно и как потом постоянно с поздним и безнадёжным раскаянием чувствовал это. И тем не менее Чингис не смог уехать, не посмотрев еще раз на сына: он остановился на окраине города, дождался позднего вечера и пришел к Дабшинским, немало удивив этим хозяев. Он здесь увидел, что сын его спит крепким сном и, обрадованный и успокоенный, вернулся к своим спутникам, чтобы продолжать начатый путь домой, в степи.

Омский кадетский корпус, по описанию В. А. Обручева, был учебным заведением со строгими порядками, но, к счастью его воспитанников, эти строгие порядки не сводились, в отличие от многих военно-учебных заведений николаевского времени, к солдафонской приверженности к «фрунту и строю»: большая часть преподавателей стремилась воспитать из омских кадетов людей гуманных, справедливых и истинно-образованных, и в этом, к их чести, они многого достигали. Тем не менее и в этом учебном заведении существовала среди двухста пятидесяти воспитанников своя внутренняя жизнь, не всегда до подробностей известная начальству и преподавателям. И в этой внутренней жизни было немало от традиций знаменитых русских бурс, описанных Помяловским. «До 1846 года — это была казачья бурса», — пишет Г. Н. Потанин и затем, свидетельствуя о том, что традиция бурсы продолжалась и после преобразования Войскового казачьего училища в кадетский корпус, продолжает: «Каждый класс у нас имел своего вожака. Наша школьная среда была так малоинтеллигентна, что в классе, в котором был Чокан, вожаком был вовсе чело-

век без умственного таланта. Это был мальчик с практическим наклонностями. Он начал с того, что каждое воскресенье вечером становился у входных дверей, встречал возвращающихся из отпусков кадетов и выпрашивал у них конфеты, которые те всегда приносили. Он съедал их, а в середине между воскресеньями, когда все остальные кадеты свои конфеты уже истребили, предлагал их лакомкам в обмен на карандаши, бумагу и прочее. Таким образом, у него вырос магазин всяких канцелярских принадлежностей, бумаги, карандашей, перочинных ножей, резинок и пр. Все это он опять ссужал товарищам за разные услуги: за снабжение записками по предметам преподавания, за репетирование и пр. Благодаря этому он учился сносно, хотя вовсе был лишен способностей. Чокан объявил ему войну; он начал преследовать с детской жестокостью его торгашество насмешками и вооружил против него товарищей. Маленький мироед был разоблачен и унижен и, оставленный без тетрадок и помощи, захудал окончательно в успехах по обучению. Низложив противника, Чокан сделался вожаком своего класса. Но он не мог оставаться без борьбы или без мишени для насмешек, он открыл поход против вожака нашего класса. Вкусы нашего класса были как будто повыше, наш вожак был хороший рисовальщик и забавный рассказчик, но господство его в классе может быть было основано более на том, что он изрос годами и был уже вполне сформировавшийся мужчина. Литературой он не интересовался и ничего никогда не читал, вероятно, Чокану было бы нетрудно низложить его, но кампания Чокана была начата поздно, оставалось недалеко до нашего выхода из корпуса; мы вышли в офицеры, что и положило конец начатой кампании Чокана.

Удивительное дело, единственный мальчик-казах из степей, пришедший в стены корпуса, не зная ни слова по-русски, вдруг становится бурсацким вожаком своего класса, мало того, стремится простираť свое влияние и на другие классы. Легко ли удалось Чокану достичь такого положения и авторитета, — стоит над этим подумать. Маленький, диковатый сын степей, ломанно начинающий говорить по-русски, творя при этом несуразные обороты и словосочетания. «Киргизочек-басурманин», единственный среди двухста пятидесяти кадет, не совершающий крестные знамения на утренней линейке, балованное дитя юрт, выросшее на свежей мясной пище и с трудом привыкающее к серому хлебу и кислой капусте, — это такая удобная мишень для насмешек и издевательств, что трудно представить себе, чтобы какой-либо великовозрастный кадет, воспитанный на високомерии и пренебрежении к «инородцам», не впал в искушение поглумиться над маленьким султаном на потеху им же запуганных окружающих. Не знаем,

нашелся ли в этот трудный период жизни взрослый, сильный, благородный кадет, который взял бы мальчика-казаха под защиту и тем спас бы его от разочарований и унижений. Скорее всего, такого кадета не было, иначе чуткая к проявлениям благородства душа Чокана была бы полна благодарности и этого человека потомки непременно знали. Самый близкий друг Чокана Г. Н. Потанин, ровесник его, к которому сохранил он неизменную привязанность, был мальчишкой тихим и незлобивым и в защитники Чокану не годился, скорее, возможно, было даже обратное. К тому же Г. Н. Потанин учился классом выше, и, как он пишет, их сближение не началось со дня поступления в корпус; после свидания у Дабшинского они жили некоторое время врозь. И может быть, поэтому этот начальный период жизни Чокана в корпусе Г. Н. Потанин в своих воспоминаниях обходит. Остается предположить худшее. В последнем случае слабые натуры превращаются в духовно-дряблые существа с растоптанной душой, с вконец подавленной волей и с безвозвратно потерянным чувством собственного достоинства. Такие натуры становятся в детской и отроческой среде, малую интеллигентность которой подчеркивал Г. Н. Потанин, безответным предметом унижительных насмешек и жестокого издевательства. Не такова была натура Чокана Валиханова. Он, думается, вначале оказался на положении затравленного, но вовсе не побежденного зверька, и этот зверек, подстрекаемый могучей волей, превратился в матерого бурсака, вожака своего класса. Удивительно и другое. Маленький киргизкайсак прокладывает путь к господству в кадетской среде не только через культ силы и ловкости (хотя этот культ, по-видимому, продолжал играть роль), но и, вооруженный тонким знанием русского языка и литературы, поражает противника метким словом, ядом остроумия, этим как-то облагораживая бурсацкий элемент во взаимоотношениях. И, может быть, это и есть тот случай, когда трудное несчастливое начало кадетства Чокана следует отнести к периоду особого везения в его жизни. Представить только, как степной мальчик, воспитанный на изнеживающих душу и тело ласках, на потакании к его шалостям и на исполнении всех его желаний внезапно, попадает в совершенно другой мир, где вместо ласк встречается жестокое задиранье и детские жестокости старших кадетов, вместо потакания шалостям, вместо исполнения желаний-суровый порядок и полное равнодушие к тому, что творится в ребячьем сердце. И если Чокан в самом раннем возрасте сумел пройти это испытание на бесстрашие, упорство, ловкость и находчивость и при этом, закаляя волю, не только перестал быть страдающей стороной, но приобрел многое из того, что потом превратило его в того поручика по армейской кавалерии, ко-

торый, благодаря редкому умению управлять своими эмоциями, благодаря железному хладнокровию, прожил, рискуя при малейшей ошибке поплатиться жизнью, чуть не полгода в Кашгаре, а потом в восточном городе, где с человеческими головами обходились столь же просто, сколь и с бараньими, то это ли не называть везением! Окажись возле него старший заботливый друг-защитник, Чокану удалось бы в большей мере избежать это испытание, и хотя нам теперь неизвестно насколько ущемляюще сказалось бы последнее на блестящих достоинствах Чокана, которыми мы, потомки, неизменно восхищаемся, все же уместно, по-видимому, сделать такое, не противоречащее логике фактов и в какой-то степени помогающее выяснению истоков этих достоинств предположение.

«При преобразовании училища в кадетский корпус, — пишет академик В. А. Обручев, — воспитанников разделили на две части: роту и эскадрон. В роту были выделены дети чиновников и пехотных офицеров, в эскадрон — казачьи дети; первых было около 200, последних — 50. Деление это было проведено и в классах, и в спальнях, только обедали в общей столовой. Роту поместили в бельэтаже, эскадрон — в нижнем этаже. Ротные получили двубортные сюртуки с металлическими пуговицами, каски с белыми султанами и ранцы, казаки — казакины на крючках, кивера с помпонами, шпоры и шашки. В роту были присланы офицеры из столичных корпусов; им было поручено установить в роте порядки столичных корпусов и уничтожить в ней казачий дух... В эскадроне остались казачьи офицеры, лучшие из прежнего состава; им было приказано присматриваться к порядкам бельэтажа и переносить их в помещение эскадрона... Бельэтаж чувствовал себя «Европой», нижний этаж — «Азией». В первом учили танцам и немецкому языку, казачат в те же часы — верховой езде и татарскому языку».

Маленький Чокан не попал в «Европу», он был зачислен в эскадрон и оказался в «Азии». Объясняют это тем, что эскадронные мальчики, будучи детьми из прилинейных (приграничных с казахскими степями) станиц, были ближе к Чокану по складу воспитания, некоторые из них знали казахский язык. Нам не известно, как это было оценено впоследствии самим Чоканом. Но не думается, что его «эскадронность» прошла мимо его внимания, если учесть, как он быстро вырослел в своем умственном развитии и как рано стал разбираться в исходных критериях, по которым люди делились на очень привилегированных, просто привилегированных, менее привилегированных и вовсе не привилегированных. И знал, конечно, что, по освященным временами традициям, он, ханский потомок, имел более всех этих двухстатусных право быть ротным. Тут не могло не разыграться самолюбие даровитого маленького

султана. Может быть, это тоже в какой-то степени прибавило задора к природной любознательности, редкой склонности к непрерывному умственному напряжению, которыми отрок Чокан счастливо отличался, если не от всех, то во всяком случае от подавляющего большинства и эскадронных, и ротных. Зачисление Чокана в эскадрон оказалось полезным и в другом отношении. Он, умевший при необходимости демонстрировать свой неподдельный аристократизм, в глубине души остался убежденным демократом, хорошо понимающим, что человеческие качества вовсе не зависят от искусственного деления людей по табелю о рангах. Этому пониманию во многом способствовала та эскадронная плебейская среда, в которой воспитывался кадет Чокан.

Омский кадетский корпус выпускал офицеров для службы в сибирских губерниях: «Не боясь солгать», — пишет Г. Н. Потанин, — можно выразиться, что Сибирский кадетский корпус был в то время лучшим учебным заведением во всей Сибири. Даже Иркутская и Тобольская гимназии уступали ему в выборе хороших учителей, не говоря уже о Томской, в которой в то время все учителя были какие-то допотопные фигуры. Поэтому в отношении учебных заведений детство Чокана было оставлено недурно». Приведем, по воспоминаниям Г. Н. Потанина, характеристики учителей кадетов, оставивших заметный след в душах и сердцах воспитанников. С самой лучшей стороны проявлял себя инспектор классов (по нынешнему, вероятно, заведующий учебной частью), разносторонне образованный, артиллерийский офицер Ждан-Пушкин. «Он знал французский, немецкий и английский языки, был отлично знаком с историей европейской литературы, особенно английской, и с историей вообще. Случалось, что иной предмет останется без преподавателя — Ждан-Пушкин брал преподавание на себя. Так он временами читал нам алгебру, всеобщую историю и артиллерию, и каждый предмет он читал лучше учителя. Но, главным образом, его благородный и открытый характер оставлял глубокий след в умах его питомцев. Кадеты старались подражать ему... Костылецкий преподавал русский язык и русскую словесность. Он был собственно ориенталист, кончил курс в Казанском университете по восточному факультету. Он хорошо знал языки арабский, персидский и особенно наречие казанских татар. Для кадетов Костылецкий имел большое значение, он отличался независимым характером и был очень остроумен; пошлость он преследовал ядовитыми насмешками; он был поклонник идей Белинского и почитатель таланта Гоголя; в своей истории словесности он руководствовался статьями Белинского. «Здесь

следует добавить замечание В. А. Обручева, сделанное им, по-видимому, по рассказам Г. Н. Потанина: «Костылецкий свой курс составил по критическим статьям Белинского, но имени последнего ни разу перед учениками не произнес. Этим он спасал свой курс от запрета со стороны учебного начальства, так как Белинский в годы царствования Николая I считался в кругах офицерских вредным писателем».

Затем упоминается преподаватель истории Гонсевский. «Это был из наших учителей самый начитанный; он продолжал следить за своей наукой, выписывал много книг и, по-видимому, готовился к более серьезной профессии, чем преподавание в провинциальном среднем учебном заведении... Лекции его для нас имели большое значение. Особенно подробно он прочел нам историю Великой французской революции, выставив ее культурные заслуги для европейского общества, сочувственно изобразив главных ее деятелей, что несколько не изменило наших чувств в отношении к своему правительству, и все мы из-под руки Гонсевского вышли глубокими монархистами».

И далее Г. Н. Потанин продолжает: «Не так удачно был выбран учитель естественной науки, он не имел никаких лишних познаний по своему предмету сверх того, что заключалось в обязательных для кадетских корпусов учебниках зоологии и ботаники Даля... Математика у нас шла не так хорошо. Специально подготовленный учитель не был выписан, и Ждан-Пушкин обыкновенно приглашал читать этот предмет кого-нибудь из офицеров, служащих в Омске: Только Кучковский толково и ясно преподавал геометрию». Евгений Иванович Старков был очень способный человек... добрый... тихий, задумчивый и рассеянный. Ждан-Пушкин просил его познакомиться нас подробнее с географией Киргизской степи, что Старков и сделал; потом он далее напечатал свой «Географический очерк Киргизской степи». Это было для кадетов очень полезно».

Обращает внимание, что в этом «лучшем учебном заведении по всей Сибири» достаточно увлекательно и хорошо велось преподавание русского языка, литературы и истории; это сказалось на воспитанниках — некоторые из них выходили с определенным интересом к общественным наукам; естественно-научные дисциплины, кроме геометрии и географии, велись слабо. Не было квалифицированных учителей. Если учесть, что все эти предметы велись на довольно элементарном уровне, то можно поверить словам одного из друзей Чокана Н. М. Ядринцева, что «Валиханов получил ничтожное воспитание в Сибирском кадетском корпусе». Да иначе и не

могло быть. В этот корпус набирались мальчики совсем необразного, но очень невысокого уровня подготовки. По мером являлся сам Чокан, поступивший, не умея ни слова говорить по-русски. Естественно, что ввиду этого преподавание любых дисциплин не могло подняться выше самых элементарных основ знаний. Только при таких условиях артиллерийский офицер Ждан-Пушкин мог одинаково хорошо заменять любого учителя и даже вести преподавание лучше каждого из них. Чтение же литературы вне программы начальником эскадрона Кучковским почти преследовалось. Во всяком случае, это был не царский лицей, где обучался А. С. Пушкин. Такая аналогия является не так уж неожиданной, если вспомнить, что современники находили в характере Чокана что-то и от Пушкина. И, на самом деле, почему бы не сравнить. Пушкин поступил в Лицей двенадцати лет, Чокан в кадетский корпус также двенадцати лет. Пушкин обучался в Лицее шесть лет, Чокан — в корпусе также шесть лет, оба они кончили курс обучения в восемнадцать лет. Но какая колоссальная разница в уровнях воспитания! Пушкин и его сверстники за те же шесть лет получили выдающуюся по тем временам подготовку и стали высокообразованнейшими людьми своего времени, что весь пушкинский выпуск, за редким исключением, состоял из лиц, занявших в дальнейшем видное место в истории России; среди них, кроме самого А. С. Пушкина, мы видим таких, как декабрист Кюхельбеккер и Пущин, будущий министр иностранных дел Горчаков, поэт Дельвиг и многие другие.

Могли ли в Омском кадетском корпусе в какой-то степени приблизиться в обучении воспитанников до лицейского уровня? Думается, что не могли. И дело не в том, что были преподаватели хуже (это, конечно, имело место), но все-таки Костылецкий и Гонсевский по преданности делу, по знаниям, может быть, не уступали, скажем, тому же Куницыну, которым восхищался Пушкин. Дело и не совсем в том, что Омский кадетский корпус был окраинным учебным заведением, ведь это было то время, когда Казанский университет, в особенности в период ректорства великого математика Лобачевского, ничем не уступал Петербургскому и Московскому университетам. Замеченная Н. М. Ядринцевым ничтожность полученных Чоканом программных знаний (а речь идет именно о них) в кадетском корпусе является следствием не менее ничтожной подготовленности мальчиков, уже приблизившихся к отроческому возрасту и, тем не менее, не прошедших нормальной, скажем, пяти-шестилетний курс начального обучения. И, естественно, что этот плебейский контингент Омского кадетского корпуса, эти дети малограмотных казаков, тянувших вечную лямку младших офицеров, из прилинейных станций, чиновно-

го люда сибирских городов, росшие в семьях, где книга являлась редкостью, не шли по начальной подготовке ни в какое сравнение с детьми аристократов, поступавших в Лицей пройдя персональное обучение с помощью гувернеров и гувернанток, специально нанимаемых учителей по отдельным предметам. И поэтому, если для Лицея выпуск высокообразованных воспитанников был как бы правилом, то каким-то удивительным и счастливым исключением является для Омского кадетского корпуса появление из числа обучавшихся в нем таких выдающихся деятелей науки, как Чокан Валиханов и Григорий Потанин. Недаром Г. Н. Потанин, уже в преклонном возрасте вспоминая годы в кадетском корпусе, не называет ни одного имени, кроме Чокана, кто бы как-то отличился во время учебы в умственном развитии и проявил себя в дальнейшей деятельности.

Из этого вытекает, что Омский кадетский корпус был учебным заведением, приспособленным для выпуска зауряднейших, послушнейших офицеров и чиновников и никак не был рассчитан для развития разнородных дарований своих воспитанников. «Кучковский, — пишет Г. Н. Потанин, — воспитывал нас в суровой дисциплине. Вообще ни среди наших офицеров, ни среди наставников никто не относился к кадетам ласково. Костылецкий был не из тех, которые ласкают. Гуманные и добрые Сулоцкий и Старков были робки для того, чтобы обнаруживать приливы нежного чувства. Только один Гонсевский смело давал волю своему сердцу в этой казарме маленьких детей». Словом, из корпуса выпускались люди не только с весьма заурядным, весьма элементарным образованием, но и с приглушенными эмоциями. По-видимому, для царской администрации как раз и нужны были именно такие люди для службы в окраинных управлениях. Можно с уверенностью сказать, что, если из среды воспитанников Омского кадетского корпуса вышли такие выдающиеся деятели науки, то этим два друга обязаны своему природному дарованию, на редкость удачно сопряженному с природным упорством в достижении цели на пути к истинным знаниям, к истинному духовному обогащению. Но есть и некоторая разница в интеллектуальном развитии друзей. Г. Н. Потанин, по счастливой случайности, воспитывался до кадетского корпуса в семье просвещенного полковника Эллизена наравне с его детьми. Жена Эллизена оказалась хорошим и добрым педагогом; до поступления в корпус Потанин самостоятельно читал «Робинзона Крузо». Кроме того, Потанин учился на класс старше Чокана. У Чокана такой подготовки не было. Знания, полученные в степи, нужные ему в дальнейшем как ученому, на первом кур-

се корпуса, естественно, не могли пригодиться; Чокану, не знакомому с русским языком, надо было научиться говорить, а русскому грамоту начинать с букваря. Но совершилось чудо. Развивался Чокан, — пишет Г. Н. Потанин, — опережая своих товарищей... Он уже был взрослый, тогда как мы, старшие его летами, были по сравнению с ним еще мальчиками без штанов. То, что он знал и в чем превосходил нас, он не пропагандировал в товарищеской среде, но при случае беспрестанно обнаруживалось его превосходство в знаниях. Как бы невольно, он для своих товарищей, в том числе и для меня, был «окном в Европу». Это было феноменально для того времени: киргиз-кайсак, обделенный, как казалось в то время, многим, самой природой, умственными возможностями и способностями, так стремительно обгонял своих товарищей в овладении европейскими знаниями! И речь идет именно о знаниях, полученных сверх того, что преподавалось в корпусе по его программе. Конечно же, знания Чокану не валились с неба, они результат благоприятной обстановки, имевшей место тогда в Омске, для удовлетворения этой любознательности. Но эта благоприятная обстановка была благоприятна именно для такой личности, как Чокан.

Кадетам один раз в неделю по воскресеньям разрешалось покинуть стены корпуса. Чокан посещал дома знакомых. Одним из первых его покровителей был чиновник Сотников, отрывки из статьи которого, описывающие аул султана Чингиса, мы уже приводили. Это был человек, по-видимому, как можно судить по названной статье, пылкий, восторженный, основательно образованный (он окончил Одесское восточное училище Ришелье), и он не мог не восхищаться понятливостью Чокана и не мог не помогать ему в познании и чтении. Чокан бывал у художников, учителя рисования в корпусе Померанцева и, видимо, у этого веселого и беззаботного человека, любившего пошалить с приходившими к нему кадетами, учился рисованию. Бывал Чокан и у сердечного Гонсевского, но он к окончанию кадетского корпуса из Омска уехал. В последние годы обучения в корпусе, как рассказывает Г. Н. Потанин, «Чокан стал ходить в дом Гутковского, который был в родстве с семейством сибирского чиновника Капустина. В этих двух домах завершилось знакомство Чокана с внешкольной жизнью... Молодые люди... со вкусом к литературе и искусству посещали дом Капустина. Это был маленький клуб избранной омской интеллигенции, светилом которого был Карл Казимирович Гутковский, поклонник Кювье по философским вкусам, энциклопедист. Здесь собиралась лучшая омская молодежь; ни один замечательный проезжий не оставлял города, не побывав в этом доме». Душой этого кружка была неизменно приветли-

вая, добрая, интеллигентная хозяйка дома Екатерина Ивановна Капустина, родная сестра великого химика Д. И. Менделеева.

Стоит представить себе, как подвижный, непоседливый Чокан, находясь в этих семьях, замороженный новизной всего, что слышит, словно окаменев, внимал лучшим эрудитам города Омска, а потом, запомнив названия авторов книг, не успокаивался, пока не доставал эти книги и не прочитывал, что знавшие его, например, Г. Н. Потанин, удивлялись искусству Чокана добывать книги. Несколько позже сам П. П. Семенов-Тянь-Шанский был также удивлен тому, что Чокан, не выезжая из Омска, составил богатую библиотеку по специальности. Чокану, по его, по-видимому, настойчивой просьбе (выше мы уже говорили, как в корпусе мало поощрялось чтение) было разрешено брать книги из фундаментальной библиотеки города. Это разрешение и до Потанина, как он пишет: «...было большим счастьем. Это в нашем развитии была эпоха, когда Чокан принес из недоступного книгохранилища «Путешествие Полласа» и «Дневные записки Рычкова». Толщина книг, их формат, старинная печать, старинные обороты речи и затхлость бумаги — как это было удивительно, необыкновенно, полно поэзией старины!».

Чокану было четырнадцать-пятнадцать лет, когда все, в том числе и корпусное начальство, смотрели на него как на путешественника и исследователя неизученных земель и стран; настолько он увлекательно умел говорить среди своих сверстников и даже перед старшими о том, сколько еще не открытых тайн хранят в себе Восток и Азия и сколько там сокровищ неизведанного.

Разумеется, Чокан и вслед за ним Потанин не ограничились лишь чтением книг путешественников, звавших в чарующие воображение страны, с ожидающими там экзотическими трудностями и опасностями. Они страстно увлекались и художественной литературой. Их кумирами были Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Теккерей, Диккенс... Богатство чувствований, языка, неистощимая образность выражения мысли, неиссякаемый юмор художников слова восхищали молодых друзей. Им, выдающимся писателям, они во многом обязаны умением легко, просто, точно и красиво писать и говорить, чем особенно отличался Чокан.

По воспоминаниям современников, Г. Н. Потанин был человеком твердым в своих жизненных принципах и в то же время отличался какой-то удивительно мягкой, сердечной, застенчивой добротой. Больше всего им владело желание сделать лишь добро и помнить лишь добро. Такие люди склонны от-

сеивать и запоминать из прошлого больше светлые и хорошие стороны, чем темные и неприятные. И, тем не менее, думается, что в Омском кадетском корпусе, к чести его начальства, не были развиты фискальство и наушничество. Будь иначе, Г. Н. Потанин, несмотря на его склонность не помнить плохое, все же не свел бы возможным умолчать об этом. Наоборот, он рассказывал о шалости одного Чокановского одноклассника, которого класс не выдавал, чуть ли не несколько месяцев, лишаясь воскресного отпуска, пока начальство не уступило. По-видимому, в этом сказалось нравственное влияние вожака класса Чокана. Среди сверстников он пользовался таким авторитетом, что к нему находили нужным обращаться, например, с таким вопросом: «Чокан, как бы в этом случае следовало бы поступить благородному человеку?» Оказывалось, что никто среди кадетов не мог решить подобные вопросы легче и вернее, чем Чокан.

Чокан окончил Сибирский кадетский корпус в 1853 году, по этому поводу последовал высочайший рескрипт Николая I, пребывавшего в постоянных и неусыпных заботах лично о каждом из своих подданных, "Известно и ведомо да будет каждому, что мы Сибирского кадетского корпуса воспитанника Чокана Валиханова в наши корнеты тысяча восемьсот пятьдесят третьего года ноября восьмого дня всемилостивейше пожаловали и учредили: яко же мы сие жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим подданным, оното Чокана Валиханова за нашего корнета надлежащим образом познавать и почитать; и мы надеемся, что он в сем ему от нас всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру подлежит..."

Царский офицер Валиханов поражал всех, с кем он соприкасался, и кто умел ценить высоту духа и помыслов, удивительно богатым сочетанием специальных и общекультурных знаний, которые этот юноша каким-то непостижимым образом сумел достичь и нарастить на то жалкое основание, каким являлось воспитание, даваемое кадетским корпусом.

Ни один современник не мог упрекнуть его, что он учился «чему-нибудь и как-нибудь». Можно было бы полагать, что знания Чокана, какими бы большими они ни были, есть все-таки знания, полученные в провинциальной окраине, и должны обязательно иметь отпечаток привинциальности. Но, по-видимому, есть гениальные натуры, к которым это положение, не должно относиться. Когда в 1860 году Чокан оказался в Петербурге и вращался в среде умственной элиты, ни один из тех, с кем он общался, не чувствовал и намек на необходимость

быть в чем-то снисходительным. Казалось бы, если бы такая снисходительность в какой-то степени имела место, то она при молодости Чокана (все, с кем он общался, были старше его) не была бы унижительной. Но, к чести молодого ученого, надо констатировать, что он непринужденно и достойно равен был и с учеными, и с литераторами, и с политическими деятелями. И, тем не менее, в биографических сведениях, написанных Г. Н. Потаниным, есть одна фраза, на которую нельзя не обратить внимание. «Дуров в этот вечер отозвался мне о Чокане, что он много успел начитаться в литературе, относящейся до ближайшего к нему Востока, но очень беден общим образованием». Это была первая и последняя встреча Г. Н. Потанина с Дуровым и она состоялась в квартире последнего весной 1857 года. Казалось бы, в этом благожелательном отзыве ничего снижающего наше представление о юном Чокане Валиханове не имеется, наоборот, подчеркивается его начитанность. Но все же интересно было бы знать, что подразумевал С. Ф. Дуров под «бедностью общего образования». Конечно же, нельзя полагать, чтобы С. Ф. Дуров здесь имел в виду элементарную общую грамотность. Пламенный петрашевец, мятежный дух которого не был сломлен ни приговором к расстрелу, ни тюрьмой, ни ссылкой, ни каторгой, образованнейший мыслитель, вооруженный самыми передовыми достижениями общественной мысли своего времени, продолжал жить идеями Белинского, Станкевича, Петрашевского. Естественно, что этот человек, некогда обсуждавший проблемы века в кружках Петрашевского и петрашевцев, где, как и при де-

кабиетах,

Витийством резким знамениты

Сбирались члены всей семьи,
хотел иметь своим собеседником философа, знатока экономической и политической мысли на своем же уровне. В этом смысле Чокан мог и не соответствовать желаниям С. Ф. Дурова. Последнее, на наш взгляд, и могло явиться для неугомонного в поисках идеала петрашевца единственным критерием для оценки общеобразовательного уровня. И все же можно усомниться в точности фразы, приведенной честнейшим и добросовестнейшим другом Чокана Григорием Потаниным через сорок лет после события по памяти.

Представим обстановку, когда якобы С. Ф. Дуров произнес слова, характеризующие знания Чокана Валиханова. Н. Г. Потанин после окончания Сибирского кадетского корпуса был направлен для службы в полк Семиречье и затем на Алтай. Вернулся же он в Омск в том же 1857 году в Войсковое казачье правление. При окончании корпуса у Г. Н. Потанина

взгляды на общественную жизнь были таковы, что он «представлял Россию несущейся вперед... в виде скачущей тройки... Николай I должен быть умнее Петра" и пять лет службы в захолустье ни на йоту не изменили его наивную веру в царя, умело правящего несущейся вперед тройкой отечества. «Когда я вернулся в Омск, — пишет Г. Н. Потанин, — появился Катковский «Русский вестник» в нем «Губернские очерки» Щедрина и статья Громеко «Полиция вне полиции», сделавшие сенсацию и у нас в Омске. Все это я читал с увлечением, но Чокан, который меня навещал в Омске, напрасно бился со мною: я оставался по-прежнему двоевером. Когда он после спора уезжал от меня, я сознавал себя большим невеждой, но все-таки не отступал, слишком глубоко вкоренились во мне те симпатии, которые он хотел разрушить». Чокан, видимо, стал убеждать своего упрямого друга. Григорию Потанину, сверстник Чокан, кончивший кадетский корпус на год позже его, не был авторитет. Какова бы не была скромность Гриши, но ему было так же как и Чокану всего лишь двадцать два года и даже «созная себя большим невеждой, он не мог победить свое самолюбие и легко сдаться убеждениям друга. И тогда Чокан пошел на хитрость: он привез его на квартиру к С. Ф. Дурову и оставил на один вечер. Этого вечера было достаточно, чтобы пламенные речи Дурова обратили упрямого Гришу из человека, влюбленного в царя, поклоняющегося «великому» Николаевскому тридцатилетию, человека, ожидавшего многих благ от нового монарха, в неумолимого противника самодержавия и самодержавного строя, каким остался Г. Н. Потанин с этого вечера на всю жизнь.

И здесь стоит подумать, не слишком ли упрощенно преподносит Григорий Потанин читателям свое превращение из преданного царю служки в демократа, наполненного протестом против торжествующего зла, не слишком ли быстро произошло это обращение кроткого, незлобливого юнца в серьезного, мыслящего человека? Судя по воспоминаниям Г. Н. Потанина, никто, кроме Чокана, до встречи его с Дуровым не обсуждал и не спорил с ним по общественным проблемам, высказывая соображения, противные укоренившимся в нем кадетским убеждениям. Это и не мудрено. До этого Г. Потанин вращался в обществе казачьих офицеров, чьи интересы мало выходили за пределы «фрунта и строя» и удовлетворения života своего. Единственное «окно в Европу», которое имел Г. Потанин в кадетском корпусе в виде своего друга Чокана, и то было потеряно. Следовательно, единственный, кто мог нравственно подготовить Григория Потанина к такому быстрому разрушению его годами взлелеянных убеждений, был Чокан Валиханов. И

когда Чокан почувствовал, что нужен последний, решающий толчок для обращения Потанина в новую веру, он повез его к С. Ф. Дурову, считая, что теперь бывший петрашевец сойдет окончательно с его друга Гриши его дремучее политическое невежество, которое, по всей вероятности, и относил Дуров к «бедности общего образования». Что же касается общей эрудиции Чокана, то об этом вот что писал С. Я. Капустин, познакомившийся с ним за год до окончания кадетского корпуса. «Я в это время кончил курс в Казанском университете и приехал в Сибирь. Несмотря на разность программы этих двух учебных заведений, мы, познакомившись, не находили предмета, о котором бы разню думали. Не понятие обыкновенного воспитанника среднего учебного заведения я встретил в Чокане, а нашел разносторонне образованного человека. В особенности он обладал историческими знаниями, вообще отличался начитанностью как в области научной, так и литературной».

Стоит также подумать, так ли уж был «беден общим образованием» Чокан Валиханов, чтобы об этом Дуров мог говорить растерянню сидящему перед ним, млея от восторга и краснея от стыда, наивному политическому несмышленишу Потанину? Г. Н. Потанин считает, что все кадеты без исключения вышли из корпуса с верой в царя и царское отечество. Этого, наверное, нельзя отнести к Чокану. Он с пятнадцати-шестнадцати лет вращался в среде критически настроенной омской интеллигенции и еще в годы обучения в корпусе был далек от того умиления и от того восторга, перед державным скипетром, которым был полон даже такой способный и аналитический мыслящий кадет, каким был Г. Н. Потанин, не говоря уже о других отнюдшниках Чокана. Об истоках политической зрелости Чокана пишет сам же Потанин. «Политические мои убеждения сильно расходились в это время с убеждениями Чокана. В течение пяти лет, как мы не виделись, Чокан все это время провел в Омске, в большом городе, где существовал кружок интеллигентных людей; я большую часть прожил в захолустье, в Алматах или в одной из казачьих станиц на Алтае. А за это время большие перемены совершились; произошел севастопольский погром, появились «Губернские очерки» Щедрина, начал издаваться «Русский Вестник» со статьями Громеки, Тургенев сделался любимцем публики, выступил Чернышевский. Новые веяния донесли и до Омска. В какое-нибудь алтайское захолустье они доходили только с газетой или книгой, в Омск заносились и живыми людьми. Через Омск тянулись тогда освобожденные из ссылки декабристы и петрашевцы; некоторые группы назначили в Омске съезд для свидания. В

обратную сторону повезли Бакунина — «саксонского короля», так звали его в сибирских городах.

Можно представить как неловко себя чувствовал Г. Потанин перед Дуровым, когда тот с беспощадной ясностью показал «бедность общего образования» своего молодого собеседника. Потанин, должно быть, что-то лепетал по поводу своей неграмотности и своего невежества. И может быть, что добрейший и чувствительнейший Дуров принялся утешать юношу, говоря что-то вроде: «Чокану тоже мешала его общеобразовательная бедность, это пройдет...» и т. д. Вот эта или подобная успокаивающая фраза и могла сохраниться в памяти Потанина и он, будучи весь в плену взрывчатых впечатлений, произведенных в его душе Дуровым, с наивным простодушием ученого, чья голова постоянно занята множеством других проблем, передал эту фразу потомству в форме, которая послышалась ему в тот вечер потрясения и прозрения, совершенно не думая о том, что эта характеристика могла относиться только к нему самому и никак не к Чокану Валиханову. Между тем, истинным учителем Потанина в деле его духовного перерождения был Чокан. Об этом пишет и сам Потанин: «Со мной совершился переворот. Я ушел от Дурова тем, до чего меня хотел довести мой друг Чокан. Собственно, это не был переворот: мое идейное содержание было уже сформировано в приблизительно том духе, чего-то немного недоставало, чтобы переменить кличку». И в этом «сформировании этого содержания» и в этой «перемене клички», как видно из сказанного, выдающую роль сыграл Чокан. Впоследствии благодарный Потанин писал: «Я уже стал на ту стезю, по которой пойду в течение всей своей жизни. Читатель знает, что этой подготовкой я много обязан Чокану».

Этот случай из жизни Григория Потанина, рассказанный им самим, показывает, что выпускник кадетского корпуса Чокан Валиханов вместо того, чтобы, следуя высочайшему и всемогущественнейшему наставлению и предписанию, «прилежно поступать... как то верному и доброму офицеру надлежит», занимался чем-то диаметрально противоположным, а именно, обращал людей, влюбленных в царя и преданных его строю, в критически мыслящих демократов, обладающих по отношению к державной власти совершенно обратными чувствами. Думается, что не нужны никакие другие свидетельства, чтобы характеризовать, насколько был вооружен передовыми идеями своего времени, на какой нравственной и духовной высоте находился царский офицер Чокан Валиханов, которому вскоре суждено было прославиться в качестве выдающегося ученого.

"В то время как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (тем особенным видом устивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать), выслушал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навятяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что-то докладывал князю Андрею.

— Очень хорошо, извольте подождать,— сказал он генералу по-русски тем французским выговором, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбой бегал за ним, прося еще что-то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису.

Борис в эту минуту уже ясно понял, что он предвидел прежде именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше, чем когда-нибудь, Борис решил служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписанной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика".

Читатель уже догадался, вероятно, что мы привели выдержку из романа Льва Толстого "Война и мир", где к князю Андрею Болконскому, служившему адъютантом у главнокомандующего Кутузова, приходит князь Борис Друбецкой, молодой человек из обедневшей семьи, поставивший целью, чего бы это ни стоило, выслужиться и дойти до "степеней известных". К князю Андрею он пришел именно потому, что капитан в роли адъютанта всемогущего Кутузова, как он предчувствовал до этого и как мог убедиться, войдя в приемную, где хозяином был князь Андрей, имеет влияние на дела, куда большее, чем многие обремененные чинами и отличиями представители военной иерархии, перед которыми трепетал прапорщик Друбецкой.

Вскоре после окончания в 1853 году Сибирского кадетского корпуса восемнадцатилетний Чокан Валиханов был назначен на должность адъютанта генерал-губернатора Западной Сибири и командующего войсками Сибирского военного округа от инфантерии Г. Х. Гасфорта. По свидетельству Г.Н. По-

танина, корнет, а потом поручик Валиханов «часто дежурил в доме генерал-губернатора, принимал просителей и в те дни дежурства обедал у него (у генерал-губернатора — Б. Е.).

Вспоминал ли Чокан, став одним из хозяев приемной части генерал-губернаторского дома и вполне освоившись с новой ролью, как более шести лет тому назад, он степной мальчик, только что оказавшись в Омске, пугливо и диковато вглядывался в чудеса большого города и был поражен красотой и величием самого лучшего здания, здания-дворца, в котором жил, как ему объяснили, властитель посильнее и покрупнее ханов из сказок? Он, наверно, вспоминал тот детский рисунок, где с недетской дотошностью и мастерством воспроизвел этот дом-дворец; и, может быть, внутренне при этом улыбался тому стечению обстоятельств, которые привели его теперь сюда для царской службы. Для будущего знатока социальной и политической жизни родного края эта должность оказалась как нельзя более кстати. Чокан сразу же, со скамьи кадетского корпуса оказался в центре управления всей западной Сибирью, в которую входили земли, населенные казахами Средней и Большой Орд. Он вполне мог здесь использовать свою редкую наблюдательность для того, чтобы изучить тайные пружины и движущие силы царской колониальной административной машины, изучить сибирское чиновничество во всей его неприкрытой наготе.

«Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири, — писал А. И. Герцен об этом времени, — тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится *respublica*. Самая власть царская, которая бьет как картечь, не может пробить эти подснежные болотистые траншеи из тонкой грязи. Все меры правительства ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских «форм». Во всем этом адъютанту его превосходительства генерала Гасфорта корнету Чокану Валиханову приходилось убеждаться с первого дня своей штабной службы.

Приведем характеристику, данную омскому начальству одним из крупных чиновников сибирского ведомства полковником И. Ф. Бабковым. «Шестого июня 1858 года состоялось мое назначение обер-квартирмейстером Отдельного сибирского корпуса... Первое, что меня несколько озадачило по приезде в Омск, это иноплеменный состав высших начальствующих лиц: все они по происхождению принадлежали к иностранным народностям и большинство были иноверцы. Кор-

пусной командир генерал Гасфорт, военный губернатор области сибирских киргизов, имевший свое местопребывание в Омске, генерал фон Фридрих — оба немцы, лютеране. Помощник военного губернатора полковник Гутковский — поляк, наказной атаман сибирских казаков генерал Кринский — поляк, дежурный штаб-офицер корпусного штаба майор Круликевич — тоже поляк, начальник артиллерии генерал фон Вилькен — немец, начальник штаба Гинтовк, кажется, латвин. Впрочем, его скоро сменил швед Кройерус. Таким образом, на омском горизонте появился еще третий швед, который по усвоенному русскими, шведами и немцами правилу тотчас по вступлении в должность почел долгом позаботиться о своих финляндских собратях, и вскоре успел пристроить двух на хлебные, по тогдашнему времени, должности: майора Амондта на должность командира линейного батальона в Омске, несмотря на то, что этот швед никогда не служил в пехоте и не имел никакого понятия о строевой пехотной службе... Другому финляндцу — Гартлингу была предоставлена должность смотрителя омского госпиталя... Сам Гасфорт в то время имел чисто немецкий антураж. Так, адъютантом у него были два брата Блюменталь, Энеблад, которого сменил Фридерикс, а потом Врангель... При Гасфорте состояли еще Гинце и киргиз Валиханов...»

Как видно из приведенного отрывка, служебное окружение Чокана за редкими исключениями (среди последних, например К. К. Гутковский, старший друг Чокана, впоследствии, как и следовало ожидать, оказавшийся в опале), сплошь состояло из личностей, которые чуть позднее Салтыков-Щедрин метко назвал «господами-ташкентцами». Наиболее характерной чертой танкетцев, по выражению великого сатирика, являлось желание «Жрать!!! Жрать во что бы то ни стало, ценою чего бы ни было!.. Он никогда не довольствуется одним, но, проглатывая этот кусок, уже усматривает другой!.. Омск в этом смысле являлся наиболее типичным, наиболее обширным Ташкентом, поскольку: «...Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-востоке от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что в стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой...». Кроме того: «...баранина — это очень вкусно!.. Из нее делают шашлык... вполне достойный внимания». Вот почему сюда устремлялся, по меткому выражению Чокана, «баварский немец, который оставил родной Мюнхен с сестрицей, чтобы обирать киргизов в независимой Татарии и на их деньги шить жене померанцевые платья на цитроновых лентах». Характеризуя Омск того

времени, друг Чокана С. Я. Капустин писал: «Сюда постоянно шел прилив новых личностей из столиц, Центральной России и всех ее окраин — Финляндии, Остзейских губерний, Царства Польского, Крыма, Кавказа. Кроме людей, втянутых сюда не по своей охоте, сюда устремлялись люди, ищущие карьеры, поправления финансов, личности, замешанные в какой-либо истории, которой нужно дать забвение, и проч. и проч.». Словом, чиновничий люд Омска представлял собою некую

«...смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклись для стяжаний!»

Главным ташкентцем в этой иерархии ташкентцев был генерал Густав Христианович Гасфорт. Мы должны остановиться на фигуре этого ташкентца, поскольку он сыграл определенную роль в жизни и деятельности Чокана. Все считали, что Гасфорт приблизил к себе Чокана и оказывал ему покровительство; это было тем более странно, что этот киргиз-кайсак был единственным немцем в его окружении. Тем не менее, это была правда. Чокан Валиханов пользовался личным вниманием Гасфорта, он во многом способствовал, как научным занятиям молодого ученого, так и его служебному продвижению. Несмотря на это, в биографических материалах Чокана мы не найдем ни даже намека на благодарность со стороны Валиханова за эти генеральские благодеяния. Наоборот, поведение старого генерала являлось для молодого и развитого адъютанта предметом постоянных язвительных насмешек. Можно ли думать, что Чокан на добродетельное внимание со стороны старого генерала отвечал черной неблагодарностью? Думается, что нет. Чокан умел быть благодарным, и это была характернейшей чертой его личности. Но благодарность для него потеряла бы свой возвышенный и благородный смысл, если бы она не была связана с душевным расположением к генералу, деяния которого в том или ином случае могли бы быть отнесены к добру. Чокан не мог фальшивить, он не уважал Гасфорта, несмотря на его всемилостивейшее покровительство и благосклонное внимание. И к этому он имел основание.

Если воспользоваться градацией Салтыкова-Щедрина, генерал-губернатор Гасфорт, несомненно, должен быть отнесен к разряду ташкентцев-цивилизаторов. У великого сатирика один из подобных ташкентцев закладывал основы цивилизации во введенном крае с помощью внедрения в обывательский быт телеги. Цивилизаторская деятельность Гасфорта отличалась куда более широким диапазоном; она простиралась от

выдумывания особых мундиров для подчиненных, особых образцов седел, чепраков, конских уздечек до проектов «Заградительной горной цепи» в Заилийском Алатау («начальством спроектированные горы», — язвил по этому поводу Чокан) и даже новой религии для казахов, представляющей собой, по мысли автора, благотельное соединение мусульманства с христианством. Такими цивилизаторскими проектами голова генерал-губернатора была перегружена, что вовсе не свидетельствовало в пользу ума этого сановника. Проницательные собеседники враз обнаруживали беспробудную глупость Гасфорта. «Он так пуст и глуп, что много говорить о нем не буду», — писал своему отцу приятель Достоевского и Чокана А.Е. Врангель. Но, по-видимому, в те времена человеку на должности генерал-губернатора и не было необходимости отличаться умом, ибо Гасфорт, этот бывший слушатель трех немецких университетов, обладая пятью докторскими дипломами, будучи кавалером орденов Георгия, Анны, Владимира с бантом, знака Железной короны, владельцем табакерки, осыпанной бриллиантами, и золотой шпаги, был, как говорится, чином от ума избавлен. И потому, может быть, как свидетельствует тот же Врангель, во вверенном обширном крае слово его было законом, и ему оказывалось чуть ли на божеское почитание.

Сам Гасфорт о собственном интеллектуальном уровне был совершенно обратного мнения. Будучи уверен, что десятилетие (1851—1861 гг.) его проконсульства в Западной Сибири было великим десятилетием, он считал вправе увековечить свою деятельность ношением двойной фамилии Гасфорт-Заилийский, установлением памятника в Березове, Тобольске или Омске и т. д. и т. п. Один из перевалов Заилийского Алатау был назван перевалом Гасфорта. Про отставку Гасфорта Чокан сочинил быстро распространившийся меткий анекдот: будто когда адъютант Чокан сообщил, кто едет вместо него, тот якобы возразил: «Но ему здесь нечего делать! Я все докончил!». Он совершенно уверен был в том, что его выдающаяся административно-военная деятельность погубила в нем не менее «выдающегося» литератора-романиста. По-видимому, у себя в гостиной, среди млеющего в раблепном восторге окружения, он любил разглагольствовать на эту заветную тему. Сохранились отрывки из дневников Чокана Валиханова, тонко воспроизводящие эти разглагольствования генерала. Эти отрывки удивительны тем, что Чокан, изобличая в себе недюжинный талант сатирика, дает тонкую характеристику психологии выживающего из ума сатрапа. Вот образчик речи Гасфорта, где схвачена жалкая интеллектуальная суть генерала от инфантерии.

«— Да, матушка, муж твой некогда был романист, но зная крепко, романист, да только, так сказать, не тово (улыбка) не сентиментальный, не тово, чтобы какая-нибудь Жосе Занд или Гоголь, что ли там у вас, господа, которым вы так восхищаетесь, я не нахожу в нем ничего. Я... (ковыряем между клыков). А сам я писал вроде Диккенса: в глубоко патетическом и вместе с тем в забавно юмористическом тоне (выпивает последний глоток пива). Жаль, господин Валиханов, что этих романов теперь у меня нет, я бы дал бы вам в полное и неотъемлемое право («т» с особенным ударением и скрипом), если бы Вы их издали под своим именем, то нет сомнения, Вы получили бы репутацию и авторитет лучшего писателя...» — Это краткое изречение из дневниковых отрывков Чокана, на которые до сих пор почему-то мало обращалось внимания, характеризуют Гасфорта более точно и реально, чем перечень всех многочисленных благоглупостей, которые творились в Западной Сибири и казахских степях во времена десятилетия его генерал-губернаторства.

Известно, что такие недалекие умом люди, как Гасфорт, слыша постоянную похвалу своим действиям, восторги своим осуждениям, особенно склонны предаваться иллюзиям насчет благотворности не только своих деяний, но и самого факта своего существования. Это самодовольство и эта удовлетворенность часто выражается во внешней кажущейся, умиротворенности и доброте. Тот же Врангель, перечислив странности поведения Гасфорта, пишет: «...несмотря на все эти выходки, все же следует сказать, что в сущности Гасфорт был добрый старик. Но что поделаешь, — слабость ума напускать на себя важность и грозность». Между тем, все знали, как страдали миллионы людей в крае от злоупотреблений под управлением ослепленного властью генерал-губернатора, страдавшего феноменальным затмением ума. По свидетельству Г. Н. Потанина, в крае царит такой произвол, что все должности были оценены и продавались за определенную сумму. Взятки брались открыто. Мелкие власти, зная безнаказанность, чинили всякие безобразия. Вся администрация Омска жила в богатстве, имела хорошие дома, комфорт, а низы бедствовали. Чокан, будучи адъютантом Гасфорта, знал обо всем этом доскональнее всех. Позднее, когда уже место Гасфорта занял другой немец Дюгамаль, Чокан в одном из писем, говоря о злоупотреблениях царских чиновников, заметил: «Я не помню даже при Гасфорте ничего подобного».

Теперь становится понятным почему Чокан не мог питать к своему покровителю Гасфорту ни грани уважения. Но рабо-

тать у Гасфорта и пользоваться его покровительством ему было просто необходимо. Чокан мыслил достаточно трезво, чтобы не выступать перед Гасфортом и его скалозубовским окружением в роли Дон-Кихота и не ломать копий о ветряную мельницу генерал-губернаторской администрации, тогда как положение адъютанта у всемогущего Западно-Сибирского властителя давало ему возможность подробно знать нравы и методы лихоимства чиновничества, хорошо изучить социальную и политическую жизнь края, вести специальные научные изыскания для чего иметь доступ к секретнейшим архивам. Кроме того, Чокан был во власти иллюзии, что, занимая ключевые позиции в колониальном аппарате, можно личным примером и личными усилиями облегчить участь своих соплеменников. Чокан, как известно, остался верен этой иллюзии до конца жизни, чем объясняется его неудачная попытка за два года перед смертью стать старшим султаном одного из степных округов.

Можно легко себе представить, чем и как мог понравиться Гасфорту Чокан, после того, как по-видимому, по рекомендации Гутковского, оказался в должности адъютанта генерал-губернатора. Рассказывают, что Гасфорт был болезненно не равнодушен к пышности и парадности. Это неравнодушие усиливалось, должно быть, от того, что этот лютеранин не отличался знатностью происхождения. И именно, в силу этого, присутствию в своей свите чингизида, потомка хана и единственного по-настоящему цивилизованного киргиз-кайсака придавал особое значение. Прошло, надо полагать, не очень много времени, чтобы Гасфорт почувствовал, как отличается этот юный изящный инородец по тонкости воспитания, по пониманию душевных движений уверенного в своей значительности и в своем величии шефа. Он, должно быть, понял, что такой адъютант ему просто необходим.

Вышеприведенный монолог Гасфорта, переданный потомству Чоканом, свидетельствует о том, что сановный старик был уверен в своей образованности, начитанности и у него доставало ума, что эту иллюзию необходимо поддерживать, ибо не мог же он, как высокопросвещенная и гуманная личность, не встречаться с такими апостолами гуманизма и многознания, как Михаил Бакунин или Семенов-Тянь-Шанский и уже вовсе не мог он при встрече с ними косноязычно нести околесицу. Юный Чокан, кладезь всевозможных знаний, умеющий к тому же эти знания преподносить таким образом, что будто он все это узнал от самого Гасфорта, оказался, как думается незаменимым в таких случаях помощником. Особенное умение

Чокана подсказать необходимое к данному моменту. Его исключительный талант кратко, ярко и нескучно излагать сведения о казахских степях, способность быстро и точно, не теряя первородных красок, переводить цветистые обращения степных витий, к первому в степях генералу белого царя, вероятно, очень импонировали склонному представлять себя ценителем знаний, остроумия и красоты слога Гасфарту во время его инспекторской поездки по землям Средней и Большой Орд летом 1855 года. Недаром после этой поездки появилась всеподданнейшая просьба Гасфорта о высочайшей милости присвоить корнету Валиханову воинское звание поручика не только потому, что Чокан при «совершенном знании оной (службы — Б. Е.) и киргизского языка, а также и местных киргизских обычаев, принес большую пользу», но и потому, что «он, султан Валиханов, потомок последнего владетельного хана Аблая, поступившего в подданство России». Чокана нельзя было ставить ни в какое сравнение с тем немецким окружением, которое ничего не хотело знать, кроме обворования и обирания; со всеми этими Фридрихсами, Граве, Гитовтами, Кройерусами, Гинце, которые никак не в силах были войти в понимание просвещенных интересов своего шефа, его литературно-художнических, философско-эстетических притязаний, и, по всей вероятности, выражали восторг и изумление совсем не в том месте, где этого ожидал хозяин. Другое дело Чокан. Этот юный провидец, надо полагать, сразу разгадал какой пустой, но звонкой посудиною является его шеф, и в какой момент необходимо присоединиться к ее звону, чтобы войти в резонанс и усилить этот звон, что не могло, естественно, не импонировать чувствительному в таких случаях Гасфарту.

По-видимому, недалекий и в то же время не лишенный старческих сентиментов Гасфорт питал к своему юному адъютанту в какой-то мере действительно искренние чувства, и, судя по биографическим материалам Чокана, остался верен этим чувствам. Теперь, когда пора многочисленных гасфуртов, обиравших наш народ, канула необратимо в небытие, может быть, будет справедливо, если отдать должное этой неосознанной слабости неограниченного властителя степей, слабости, как мы знаем, так неопределимо благотворно сказавшейся на судьбе первого гениального ученого-казаха. Окажись на месте Гасфорта пораньше тот же заменивший потом его Дюгамель, явно не расположенный к Чокану, может быть, не было бы ни экспедиции в Иссык-Куль, ни путешествия в Кашгар, ни многих драгоценных исследований: Чокан, протянув не-

сколько лет где-нибудь в захолустье лямку рядового офицера, не имея ни книг, ни архивов, ни общества, вышел бы в отставку, дожидая свой век в степной юрте. И в этом случае казахский народ лишился бы имени и трудов своего гениального сына, столь ярко показавшего великие духовные возможности своих соплеменников.

Думается, что умением играть на чувствительных струнах души спесивого и самовлюбленного старого генерала владел Чокан вполне. Владел настолько, что Гасфорт, как это следует из его донесений в Министерство иностранных дел, например, казалось, что он может редактировать и поправлять труды Чокана. И главная особенность этой игры заключалась в том, что он обходился при этом без тривиального раболепства, без преданнейшего заглядывания в рот, без привычного чиновничьего самоунижения, в пределах чисто служебной субординации. Известно, что к человеческим качествам Чокана не могли придаться даже не расположенные к нему современники. «Ловкий киргиз» — вот единственное выражение, которое могли употреблять некоторые из них, не найдя ничего другого убедительного для обоснования своей неприязни. Можно полагать, что этот эпитет «ловкий» и намекал на умение Чокана легко разгадывать и тонко использовать сильные и слабые стороны тех, с кем он соприкасался, и это умение, должно быть, особенно ярко выразилось в его взаимоотношениях с Гасфортом.

Вспомним слова адъютанта Кутузова князя Андрея Болконского. Князь Андрей, как известно, один из лучших и любимых героев Толстого. Он — самая умная, самая высокообразованная, самая собранная личность из всех созданных неповторимо реалистическим воображением гениального писателя. Но почему этот воспитаннейший человек разговаривает со старым русским генералом, презрительно прищурившись и «с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что если бы не моя обязанность, я бы ни минуты с вами не стал разговаривать». Ведет же себя умный и проницательный князь Андрей по отношению к этому генералу таким образом потому, что точно знает: насколько жалок этот стоящий навытяжке, почти на цыпочках, с выражением крайнего подобострастия на своем багровом лице генерал, перед ним, маленьким капитаном, настолько же он с тем же багровым лицом грозен, непорядочен и жесток к своим подчиненным и ко всем тем, кто от него зависит. Представляется, что именно подобным же образом вел себя Чокан Валиханов в приемной Гасфорта, куда приходило, вероятно, намного больше достаточно чиновных и достаточно сановных персон из породы

«господ-ташкентцев», не знавших из шкурных соображений предела подобию и самоунижению. Наверное, он щурил свои азиатские глаза с не меньшей выразительностью, сохраняя при этом в не меньшей мере совершенно безукоризненную внешнюю учтивость, чем такой же небольшого роста, такой же изящный, как Чокан, совершенно достоверный его литературный собрат.

Но какая колоссальная разница в условиях службы князя Андрея и султана Чокана. Болконский служит рядом с коллегами, которые отираются здесь в штабе главнокомандующего, чтобы быть подальше от поля битвы и поближе к удовольствиям и беззаботной жизни. К богатому, родовитому, умному, блестящему, независимому, очень дальнему, холодно учтивому князю Андрею это пустое окружение относится со смешанным чувством страха, зависти, благоговения и почтения. Князь Андрей на это отвечает снисходительным равнодушием. Но у князя Андрея начальником является Кутузов, которого Болконский не может не уважать, не может не любить не только потому, что, он, Кутузов, является приятелем отца, но, главным образом, потому, что старый генерал и мудр, человек, благороден, дальновиден и справедлив. И ему просто приятно быть полезным такому выдающемуся человеку. И перед проницательным, видящим единственным выцветшим старческим глазом все насквозь Кутузовым трудно было бы представляться иным, чем он есть на самом деле, да и в этом не было необходимости. Иной участи удостоен был адъютант Гасфорта Чокан.

Для окружения Гасфорта Чокан представлялся выскочкой, незаслуженно и случайно, благодаря причудам старого вельможи, оказавшимся в его свите. Для этих остзейцев и баварцев, привыкших к высокому и презрительно относиться к кореным жителям степей и смотреть на них как на предмет для обирания, чингизидство Чокана ничего не означало. Ум же Чокана, его выдержка, хладнокровие, интеллектуальное превосходство, неподкупность и, наконец, само расположение к нему Гасфорта не могли не вызвать заведомо враждебного отношения со стороны этих людей, приехавших в Омск на ловлю счастья и чинов. Чокану в этом враждебном и ненавидящем окружении надо было делать вид, что всего этого он не видит, не замечает и не чувствует; а служебные дела исполнять с такой прилежностью, тщательностью и предупредительностью, чтобы не дать ни малейшего повода к упрекам, кривотолкам, превратным оценкам и осуждениям. И эту маску пунктуальнейшего и преданнейшего служебника он должен был носить

и перед самим Гасфортом, которого он ставил несколько не выше его немецкого окружения, проявляя, может быть, при этом еще большую осторожность, еще большую тонкость. И если при этих условиях Чокан Валиханов продолжает усиленно заниматься (а стоит посмотреть сохранившуюся часть его черновых тетрадей, чтобы убедиться, какое громадное количество материала он перебрал, проанализировал и записал), готовя себя к будущим путешествиям и выдающимся научным изысканиям, то можно понять, какой ежедневный подвиг совершал этот молодой человек. Причем надобно сказать, что он готовил себя к будущим превращениям судьбы путешественника не только научно, но и духовно, ибо это умение быть совершенно другим, чем он есть, умение, которое блестяще оправдалось, когда он в Кашгаре в течение пяти месяцев выглядел натуральнейшим купцом Алимбаем, выработалось у него, как мы могли заметить, не где-нибудь, а именно на службе у Гасфорта. Стоит представить, как вырвался он после пребывания в этой чопорной, напыщенной, затхлой от напускной важности приемной Гасфорта, в мир своих омских друзей, в общество Гутковских, Капустиных, Дурова и других и давал волю накопившимся чертикам в его жизнерадостной, настроенной на неиссякаемый юмор душе и этим давал повод друзьям не только смеяться, но и с приятностью думать, вопреки истине, что этому молодому казаху и служба, и знания, и все в жизни не стоят особых усилий и даются с легкостью невероятной. Образчик того, как разряжался Чокан после исполнения служебных обязанностей, приводит Г. Н. Потанин. Мы уже говорили, с какой целью привез Чокан Потанина к Дурову. «Чокан не остался у Дурова пить чай, — рассказывает Г. Потанин, — ему куда-то нужно было спешить. Он наскоро передал ему городские новости, рассказал, как он вчера был дежурным в доме генерал-губернатора, как генерал в пух и прах распек какого-то чиновника и в заключение приказал Чокану отвести этого чиновника на гаупвахту, и когда они вдвоем подходили к гаупвахте, как два чиновника, ранее посаженные под арест, сидевшие на веранде и игравшие в шашки, завидев идущих, радостно вскричали: «Ведут! Ведут!» (— Да, это страничка из Диккенса! — вставил Дуров); простился... и уехал».

Рассказчиком Чокан был удивительным, он умел, рассказывая, так представлять людей в лицах, и так искусно при этом расставлять акценты, что самые будничные явления и события, в которых обыкновенный человек не видит ничего достойного юмора, оборачивались неожиданно смешной стороной.

Иногда он давал выход накопившейся желчи едкими и жестокими насмешками. Из уст в уста передавали, как преследовал он известного в Омске генерала, черезчур гордившегося орденами и регалиями, анекдотом, ходившим в разных вариантах, что будто генерал тот ходит в самые лютые морозы с распахнутой шубой, чтобы были видны ордена, что будто прикреплял он орденские ленты к галошам, чтобы проходящие видели, что здесь находится его превосходительство. И другой раз Чокан подвел незадачливого молодого человека, просто душно сказавшего, что он, к сожалению, не знаком с господином Теккереем, к портрету писателя и самым серьезным образом представлял их друг другу. На такие саркастические выдумки Чокан был неисчерпаем. Об этой стороне характера ученого, пожалуй, ярче всех сказал Н. М. Ядринцев. «Узенькие глаза его сверкали умом, они смотрели, как угольки, а на тонких губах всегда блуждала ироническая улыбка, это придавало ему нечто Лермонтовское и Чайльд-Гарольдовское. Разговор всегда отличался остроумием, он был наблюдателен и насмешлив, в этом сказалась его племенная способность (киргизы большие насмешники), под влиянием образования эта способность у Валиханова получила расцвет. Она получила характер сатиры и гейневского юмора. Острил он зло, я редко встречал человека с таким острым, как бритва, языком».

Таков был адъютант его превосходительства Западно-Сибирского генерал-губернатора, командира отдельного сибирского корпуса генерала от инфантерии Густава Христиановича Гасфорта, корнет, а потом поручик Чокан Чингисович Валиханов. Сколько бы ни острил Чокан над окружающими его пошлостью, тупостью, лицемерием, мздоимством, он был вынужден пребывать в душных объятиях страшной атмосферы, создаваемой Гасфортом и многочисленными алчными и ненасытными господами ташкентцами. В 1857 году Чокану еще только двадцать один год, но он пишет Ф. М. Достоевскому: «Омск так противен со своими сплетнями и вечными интригами, что я не на шутку думаю его оставить. Он бы, пожалуй и выполнил это свое намерение, если бы его заветное желание изучать Восток Родины случайно не совпало с видами начальства в этом плане и он, наконец, не смог совершить свои знаменитые путешествия на Иссык-Куль и Кашгар и показать свои научные откровения ученому миру во все немеркнущем и поныне блеске».

Чокан Валиханов напечатал при жизни только три произведения: «Очерки Джунгарии», «О состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции Нань-Ду в малой Бухарии в 1858—1859 гг.», «Аблай». Первые два очер-

ка были помещены в Записках русского географического общества в 1861 году, а небольшая статья «Аблай» — в тогдашнем энциклопедическом словаре в 1860 году. Всего каких-то пять-шесть печатных листов. Много это или мало? Если вспомнить, что произведения великого Абая увидели свет через пять лет после его смерти в виде небольшой книжечки, пожалуй, в пределах тех же пяти-шести печатных листов, то для ученого-казаха, умершего почти за полвека до этого, даже эта мизерная опубликованная часть произведений Чокана кажется большим достижением. К тому же, как известно, даже эти скромные по объему публикации Чокана немедленно вызвали широчайшие отклики не только в России, но и Европе, в Австрии, Франции, Германии и Англии. В Англии, например, очерки Чокана были изданы в переводе на английский язык. Такой живой интерес к опубликованным произведениям Чокана можно было бы отнести к экзотическим сторонам деяний путешественника-казаха. Но, как известно, такие вспышки внимания быстро гаснут после первого же удивления. Интерес же к статьям Чокана оставался неизменным и постоянным. Его имя было твердо вписано в историю науки, его фамилия появлялась во многих монографиях, учебниках, энциклопедических изданиях из-под пера самых маститых деятелей русской науки. Не будь у Чокана Валиханова удивительной научной наблюдательности, не будь непостижимо громадного количества самых разнообразных географических, исторических, экономических, лингвистических и других сведений, которые он успевал с одинаковой дотошностью и одинаковым профессионализмом записывать, запоминать и обсуждать, не будь у него особого мнения излагать факты и выводы по ним в образной, увлекательной форме, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, вряд ли эти очень небольшие по объему очерки Чокана приобрели такой звучный резонанс при жизни автора и сохранили навсегда научно-историческое значение.

И все же прав был друг Чокана Н. М. Ядринцев, когда писал, что «...ничтожная печатная деятельность Валиханова далеко не соответствует ожиданиям, какие возлагали на него люди, коротко знавшие его». Друзья, конечно, частью знали, частью догадывались о той напряженной мыслительной деятельности, которую вел Чокан. И тем не менее, по-видимому, не всегда создавали, как велико количество научных материалов, по подготовленности вполне заслуживающих быть напечатанными, и как еще больше заготовок, черновиков, конспектированных, записанных первоисточников, планов, набросков и замыслов, над которыми успевал трудиться этот офицер

между заботами службы царской. В руках чокановедов, как полагают сейчас, имеется лишь часть огромного творческого наследия этого гения. Многое безвозвратно потеряно. К этому выводу приходят изучающие научную биографию Чокана.

Вот некоторый, совершенно неполный, но, наверное, характерный перечень научных трудов Чокана Валиханова, извлеченных из различных архивов и ставших теперь всеобщим достоянием. Труды, посвященные устному творчеству казахского народа — «Предания и легенды Большой киргиз-кайсацкой Орды», «Образец причитаний», «Песня об Аблае», «Песни Урака», «О формах киргизской народной поэзии», «Поговорки Большой Орды и др», религии и верования казахов и сопредельных племен — «Тенкри (бог)», «Следы шаманства у киргизов», «О мусульманстве в степи»; истории народа — «Киргизское родословие», «Исторические предания о батырах XVIII века», «Аблай», «Шуна-батыр», «Заметки по истории южно-сибирских племен», «Заметки при чтении книги проф. И. Н. Березина «Ханские ярлыки» и др.; этнографические исследования «Вооружение киргиз в древние времена и военные доспехи», «Составные части киргиз-кайсацкого пороха», «О киргиз-кайсацких моллах и древностях вообще», «Юрта» и др.; экономические и социологические исследования — «О торговле в Кульдже и Чугучаке», «Записки о судебной реформе», «О кочевках киргиз» и др. Если этот краткий перечень сам по себе свидетельствует об исключительной широте научных интересов молодого ученого, то при чтении этих произведений поражаешься тому, как этот человек за короткое время все объездил и все проник. А ведь мы не включили в этот перечень называвшиеся выше крупные произведения, печатавшиеся частью при жизни автора и посвященные его знаменитым путешествиям в Киргизию и Западный Китай (Кульджу и Кашгарию). В этих выдающихся сочинениях Чокан Валиханов проявляет себя еще и дотошнейшим знатоком географии, флоры и фауны и др. Называя представителей растительного и животного мира описываемого края и рассказывая о них, он непременно приводит их латинское название, иногда иллюстрирует высокохудожественными рисунками.

Есть еще один род произведений Чокана Валиханова, на которые еще, возможно, недостаточно обращается внимания — это дневники, которые он вел в путешествиях по Киргизии, в Кашгарию и Кульджу. Чтение этих дневников полезно не только тем, что они являются первоисточниками исторических и многих других архинужных для потомков сведений, но и доставляют читателю огромное удовольствие своими эстетическими, истинно-художественными достоинствами. Пос-

ледние в немалой степени присущи вообще всем произведениям, вышедшим из-под пера Чокана Валиханова, но дневники эти, как никакие другие произведения его, изобличают в авторе незаурядного писателя-художника. Короткие отрывки из дневников, которые мы приведем ниже, пожалуй, лучше всего проиллюстрируют нашу мысль.

18 апреля 1856 года Чокан выехал из Семипалатинска, направляясь в Верный (Алма-Ату). Через три дня повозка его приближается к тому месту, где находится памятник Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Далее, дадим слово самому Чокану.

«Возвратимся к дальнейшему течению нашей дороги. На пикете № 2 мы переправлялись на правый берег. Это было ночью. В 10 верстах, не доехав до 4-го нумера, стоит знаменитая в киргизских поэмах могила Козу-Корпеча. Мы хорошо изучили поэму и потому хотели непременно осмотреть и их могилу. По времени нашего отъезда из пикета № 2 мы должны проехать через Кизилькийский пикет ночью. Но нам хотелось встать там в утро и на могиле напиться чаю: приятно в дороге пить чай и особенно на развалинах, на древних могилах. Думать о прошедшем и заботиться о настоящем. С этой целью ямщику приказано было ехать так, чтобы утром при восходе солнца, когда жаворонок поет первую песню, когда с одной стороны мрак и ночные тучи уходят на север — с востока восстает утреннее багровое солнце и свет приятно освещает верхи деревьев, воду каким-то чудным светом, чтобы в этот поэтический час он был у могилы.

Человек предполагает, но бог располагает. Всю ночь крупные капли дождя стучали по зонту тарантаса. Истомленные лошади, скользя по грязи, перебирались шажком. Только усиленное хлопанье бича и фыркание усталых коней и отчаянные крики ямщика нарушали однообразный бой дождя.

Скверная была ночь, и скверно было ехать. В тревожном сомнении, чтобы дождь не помешал задуманному плану, я несколько раз обращался к ямщику с вопросом: «Ну что, не разъясснело?» Ямщик, промокший до костей, брюзгливо отвечал: «— Нету, — и потом, в виде обращения к судьбе, прибавлял: —Эка погода! брр...» и стряхал набравшуюся на колени воду. Жаль мне было ямщика — если б ехали скоро, он давно бы отдыхал на теплой печке. Жаль было и памяти прекрасной Баяны. Так мы ехали час.

— Ваше благородие, — отнесся ямщик, — вот и могила!

Я высунул голову. Солнце тускло выходило из-за угрюмых туч, все небо было покрыто сплошной массой грязно-матовых облаков, дождь шел, как прежде, замылившись лошади

едва тащились по грязному солончаку, налево за рекой виднелся через верхи тополей остроконечный шпиль могилы: она казалась сложенной из красного кирпича. В такую погоду нечего было думать о чае и комфортабельном осмотре киргизского антика.

— Кажись, и река в разливе, ваше благородие, не переедете, — заметил ямщик, как бы угадав мою тайную мысль.

— Ну, поезжай вперед, посмотрим в обратный путь, — сказал я и, завернувшись в шубу, повернулся на правый бок, и закрыл глаза, чтобы уснуть».

Один из лучших знатоков жизни и творчества казахского ученого большой русский писатель С. Н. Марков, приведя в своей книге о Чокане «Идущие к вершинам» этот отрывок, отмечает: «Эти заметки Чокана напоминают лучшие образцы русской прозы XIX столетия. В то время, когда Чокан писал их, ему было всего двадцать с лишним лет. Не надо забывать, что слова русского языка он стал произносить впервые лишь девять лет назад».

Хотя этого примера, пожалуй, было бы достаточно, чтобы читатель мог убедиться, каким недюженным литературным и поэтическим талантом обладал Чокан, не можем не привести еще один коротенький отрывок. В том же году Чокан прибывает в Кульджу, торговый город на Западной окраине Китая. Живо и внимательно описав, как в доме русского консула появились с визитом туголдай (китайский торговый пристав) и коголдай (его помощник) со свитой, ученый запечатлевает портреты почтенных гостей.

«Туголдай — худощавый старичок с подслеповатыми узкими глазами, украшенный огромными очками, с ястребиным носом. Рот у него несколько крив, и верхняя губа имела вид треугольника, основанием которого служили концы, а вершиной — середина. На этих губах торчало несколько волосков, и острый, сухой подбородок был гладко оголен. Крошечные и замечательного сочетания сине-буроватого цвета с кофейными зубы выглядывали из-под губ. Он не по летам жив и чрезвычайно разговорчив. Одет он в шелковый халат, опоясан черным поясом, на котором висят мешочек с табачком, веер.

Коголдай бледен, голова его лишена вовсе затылка, плоска как доска, на лицевой стороне которой привинчены глаза, нос, рот, а на другой — прикреплена коса. Он как будто не успел оправиться от испуга. Глаза как-то болезненно живы, они блуждают то направо, то налево, как глаза кошек, которыми украшались старинные часы».

Пожалуй, эти отрывки можно было бы использовать в школьных курсах литературы для демонстрации того, как с по-

мощью слов достигается точность, живость и достоверность портретных изображений. И когда друзья и близкие Чокана сравнивали его с Байроном, Пушкиным, Лермонтовым и Гейне, то этим, думается, они хотели подчеркнуть не только демонически-гордый облик уверенного в своем предназначении гения, но и исключительно художественный, поэтический талант.

Именно этому природному дару, этому эстетическому чутью, многократно обостренному громадной начитанностью, наука обязана тем, что во время путешествия в 1856 году «двадцать шестого мая Чокан сделал открытие, подобное обретению неизвестной страны» (С. Н. Марков). Речь идет об обнаружении величайшей киргизской народной эпопеи «Манас». «26-го числа мая, — записал в дневнике Чокан, — был у меня певец дикокаменный киргиз (рчи). Он знает поэму «Манас».

В открытии «Манаса» поражает и удивляет следующее. С киргизским рчи (певцом) Чокан Валиханов встретился и слушал его где-то на десятый день после вступления в земли соседнего народа. Сказители манасчи, как правило, поют великую поэму непрерывно, в темпе, постепенно отдаваясь вдохновенному экстазу. Перебивать сказителя с просьбой повторить, разъяснить не полагается, ибо это означает сорвать с певца поэтический настрой и затруднить ему продолжение сказания. Естественно, что истинный ценитель искусства Чокан последнее не мог допустить. Возникает вопрос: где мог Чокан научиться киргизскому языку, чтобы столь тонко уловить смысл «Манаса» и пророчески оценить художественное и историческое значение поэмы, поскольку он сам же пишет, что «кайсаки понимают их (киргиз — Б. Е.) с трудом: кроме множества чуждых для кайсаков слов, даже одинаковые слова имеют разное значение, часто диаметрально противоположное». Хронологические данные не допускают того, чтобы Чокан до этого мог находиться какое-то время в достаточно близком общении с представителями киргизского народа. «Знакомство же с киргизами началось в 1856 году», — отмечает Чокан Валиханов в «Очерках о Джунгарии». Предположить книжное изучение киргизского языка также невозможно, так как чуть позднее, рассказывая о своих записях извлечений из поэмы «Манас», сам же Чокан не без гордости отмечал: «Вероятно, это первая киргизская речь, переданная на бумагу». Можно было бы объяснить столь быстрое постижение содержания «Манаса» тем, что молодой ученый до этого был знаком с поэмой. Однако никаких достоверных свидетельств на этот счет не имеется. Да и вряд ли в этом случае Чокана удивило содер-

жание поэмы. «Манас, герой поэмы, — пишет он о своих первых впечатлениях от слушания, эпоса, — ногаец, вот страшный охотник до сбора жен. Вся его жизнь состоит в драках и искательстве красавиц. Только нрав его не совсем восточный — он часто ругает своего отца, угоняет у него скот, вообще обращается с ним очень, очень неделикатно. Это странно. Вообще, все кочевые народы уважают старость, и аксакалы (белобородые) пользуются у них большим почетом». Остается утверждать, что Чокан успел научиться киргизскому языку за те первые десять-пятнадцать дней пребывания среди казахов Большой Орды, многие из которых, близко соприкасаясь с киргизами, знали их язык, а также среди самих киргизов, живое общение с которыми располагало к веселым и остроумным Чокан наладил, как следует из дневников, быстро. И вообще Чокан, по-видимому, обладал особой способностью к овладению языками. Выше отмечалось, что в чоқановском кадетском корпусе эскадронных иностранным языкам не учили. Между тем, такой авторитетный свидетель, как П. П. Семенов-Тянь-Шанский, пишет: «Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов... так хорошо освоился с французским и немецким языками, что сделался замечательным эрудитом по истории Востока и в особенности народов, соплеменных киргизам».

Продолжая изучать «Манас», Чокан Валиханов с удовлетворением отмечает, что Манас выступает в качестве богатыря, который защищает слабых, воюет с калмыками и оставляет следы своих подвигов в сердце народном. Он приходит к выводу, что эта народная эпопея есть «энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около одного лица — богатыря Манаса. Это нечто вроде степной Иллиады. Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов и международные отношения их нашли себе выражение в этой огромной эпопее. «Манас» состоит из многих отдельных эпизодов, имеющих вид целого. Другой эпос «Сяметей» служит продолжением «Манаса», и это — бурутская (киргизская — Б. Е.) «Одиссея».

Эти строки нельзя читать без волнения. Нельзя читать без волнения потому, что они, эти строки, остаются поныне и навсегда самым точным, самым емким, самым ярким и образным определением исторического, общекультурного значения великой киргизской эпопеи. Нельзя читать без волнения потому, что уже в советское время, другой казах, знаменитый писатель Мухтар Ауэзов, вдохновленный своим гениальным пред-

течей, стал очарованным и увлеченным исследователем «Манаса». Чокан был первооткрывателем «Манаса» для мировой культуры. Место Мухтара Ауэзова в исторической судьбе «Манаса» хорошо определил Чингис Айтматов: «Все мы знаем, что когда в результате бездумного, безответственного, порочного, социально-вульгарного подхода к оценке устно-поэтического народного творчества над великим киргизским эпосом «Манас» нависла опасность запрета и утраты, именно благодаря гигантской эрудиции Ауэзова, благодаря его принципиальности и убедительности защиты, общественности удалось тогда отстоять это бессмертное достояние народа. Мы никогда не забудем этого гражданского и писательского подвига Ауэзова».

Можно лишь гордиться тем, что Чокан выступил первооткрывателем и первоисследователем «Манаса», бесценной духовной сокровищницы родственного народа. Он был первым цивилизованным ценителем киргизской поэзии, воплощенной в жемчужине киргизского народного творчества «Манасе». Представляется, как Чокан, сидя в юрте на полу с сомкнутыми по привычке ногами и положив на правое колено тетрадь, справа налево почти стенографически (арабский алфавит позволял это) строчит, спеша за рчи, первые в истории человечества записи «Манаса». Великая эпопея вдохновляла Чокана. Стоит почитать чокановский перевод на русский язык одной из частей «Манаса» — «Тризну по Кукетай-хану», как можно убедиться, с каким подъемом он работал над текстом: он находит в русском языке поразительно адекватные киргизским слова и образы, русская речь, повествующая о подвигах киргизских богатырей, льется ритмически упруго, свободно и широко. И все же не это являлось главным для исследователя Чокана. Главным было другое. Пусть же об этом главном скажет сам Чокан. «Ученые уже давно заметили важность для этнографии изучения памятников народной словесности, в которых лучше всего выражается характер народного быта и нравов. Любовь к старине и богатство преданий составляет особое достоинство кочевых народов Северной и Средней Азии. Предания эти сохраняются свято или в виде родовых воспоминаний в памяти старейшин, как, например юридические предания и генеалогические, или в форме эпоса передаются из рода в род особым сословием певцов. Многие слова и обороты, неспотребительные в настоящее время, показывают их древность. Главным источником для истории народов кочевых и вообще племен, не имеющих письмен, были и будут полубаснословные их легенды и отрывки известий из летописей цивилизованных народов, с которы-

ми они имели столкновения. Особенно это справедливо в отношении наших кочевников Средней Азии. История нам говорит о них очень мало, о других совершенно ничего».

Теперь можно понять, почему в дневниковых записях о «Манасе» слушатель, очарованный художественными достоинствами поэмы и удивленный некоторыми странностями в поведении богатыря Манаса, сразу же уступает место раздумчивому историку. В этой поэме сталкиваются на Чуе, Ташкенте, Или и озере Иссык-Куль три народа: ногайцы, кайсаки и киргизы. Кажется, сближения их не могло быть, да и приход их на озеро, как говорили они сами, не далее, как 70 лет тому назад... Дикокаменным ордынцам безызвестны ногайские предания: они знают Едыгея и рассказ их похож на киргизский (казахский — Б. Е.). ...Странно: ногайцы замешаны во все предания кочевников среднеазиатских. Ногайцы «ташкентские» упоминаются в «Манасе», Джанбек, Асан-Кайга известны и здесь».

Приведенные раздумья ученого свидетельствуют о том, что именно «Манас» дал толчок к другому, более важному, более великому открытию — Чокан явился первым ученым, который впервые в истории подробно и последовательно исследовал жизнь и прошлое киргизов и представил перед удивленной русской и европейской научной общественностью этот изумительный народ в поэтическом ореоле обладателя редкой для всемирной литературы эпопеи «Манас».

Об уровне представлений о киргизском народе, называвшегося в те времена в русских и европейских источниках дикокаменными киргизами или бурутами, можно судить из следующих слов Чокана Валиханова, приводимых им в «Очерках Джунгарии», «Оканчивая свои этнографические заметки о бурутах и уйсунгах (казахах Большой Орды — Б. Е.), я считаю нужным заметить, что не должно смешивать эти два совершенно различных народа. Об этом заботились в свое время гг. Левшин и Мейндорф и особенно горячо отец Иакинф, но до сих пор им никто не внимал. Слова их были гласом вопиющего в пустыне, даже Гумбольдт и Риттер не могли понять хорошо, в чем дело: они думали, что буруты именно составляют Большую казацкую Орду и что эту-то Орду можно отличить от Малой и Средней. Но это было большой ошибкой со стороны почтенных корифеев науки. Большая, Средняя и Малая киргизкайсацкие Орды составляют один народ «казак», отличный от киргизов, называемых китайцами-бурутами, русскими — дикокаменными или черными. Эти два народа отличаются по языку, по происхождению и по обычаям».

Читатель, наверное, обратил внимание, что путаница началась в названии двух родственных народов и что эта путаница сказывается даже теперь. Он, наверное, догадался, что, когда в данном очерке появляются извлечения из трудов Валиханова и других дореволюционных источников, то под словом «киргиз» надо понимать казаха, а к настоящему киргизу в этих источниках добавляется эпитет «дикокаменный». Неизвестно, когда началось это смешение имен народов, внесшее так много вреда не только в процесс исторического, этнографического изучения, в решение политических проблем, да и в само общение и обиход, в особенности, когда это общение усилилось благодаря Великой Октябрьской революции. По Чокану Валиханову, оно, это смешение, началось в те времена, когда беглые русские крестьяне, гордо назвавшие себя вольными казаками, столкнувшись с киргизами, нарекли этим именем казахов, желая отличить от себя представителей сопредельных племен, тоже называвших себя казаками (по-казахски «казак» и «казах» произносились тогда одинаково). И казахи, никогда не называвшие себя иначе как «казахи», пошли гулять по русским письменным источникам, официальным документам, да и в самом русском обиходе, как «киргизы», реже «киргиз-кайсаки», еще реже «кайсаки». И потом это перекинулось в Европу. По поводу общности названия казахов и русских казаков Чокан пишет: «Нет сомнения, что казачество началось и развилось в Азии и перешло от татар... Привольные и обширные степи киргизские, как Украина для Руси, сделались местом стечения удальцов и батыров, искавших свободу и богатство в добычах. Если русские казаки, запорожские и донские, очень скоро составили отдельную и характерную народность, более или менее различную от великорусского населения, то нет сомнения, что смутные времена междоусобий орды, выгоняя не отдельные личности, как на Руси, а целые племена, способствовали образованию отдельной казачьей (разрядка наша — Б. Е.) общины из разнородных племен.

Теперь может вызвать удивление утверждение Чокана Валиханова о том, что «кайсаки» (которые называют себя «казак») получили название «киргиз» от русских, потому что наруганностью и языком очень походили на киргизов». Исторически кажется на самом деле странным, чтобы горные жители, кочевавшие в глубинных долинах Тянь-Шаньских хребтов и отделенные от русских и России обширными степями казахов, пришли в соприкосновение с русскими казаками ранее последних. Между тем, существует легенда, которую положил в основу поэтической повести «Белый пароход» Чингис Айтматов. По преданию, приводимому в художественной обработ-

ке этого писателя, киргизы когда-то жили на Енисее. Великую реку они называли Енесай — Мать-река, и о ней пели песню:

Есть ли река шире тебя, Енесай,
Есть ли земля роднее тебя, Енесай.
Есть ли горе глубже тебя, Енесай,
Есть ли воля вольнее тебя, Енесай.

Нету реки шире тебя, Енесай,
Нету земли роднее тебя, Енесай.
Нету горя глубже тебя, Енесай,
Нету воли вольнее тебя, Енесай.

И вот на этой реке однажды враги уничтожили племя киргизов. Чудом спаслись только мальчик и девочка, которых молоком своим вскормила Мать-Олениха, только что потерявшая оленят, убитых лошадьми, и всю нерастраченную материнскую любовь направившая на вызволенных ею из беды детей. Мать-Олениха перевезла их на своей спине в Тянь-Шанские горы. От этих мальчика и девочки пошло новое, горное поколение киргизов. Оттого и племя стало называться бугу, что значит Олень, оттого и все бугинцы поклоняются Матери-Оленихе. Приводя новейший вариант легенды о Рогатой Матери-Оленихе, Чингис Айтматов затрагивает таинственнейший период в истории киргизского народа. Чокан Валиханов, исследуя прошлое и современное ему киргизов и Киргизию, сделал замечательную попытку разгадать эту историческую загадку. Знакомство с киргизами Чокан начал с племени Бугу, того племени, возрождение которого сами киргизы связывают с Матерью-Оленихой. Именно это племя, пограничное с казахами Большой Орды, объявило в 1855 году о своем желании быть в Российском подданстве. Естественно, что Чокан тоже был знаком с этим мифом. Вариант мифа, записанный казахским ученым, несколько отличается от варианта Чингиса Айтматова. Приведем его полностью.

«Бугу значит олень. О происхождении этого названия в народе существует замечательный миф. Карамурза и Асан, охотясь за оленями на горах Аламышик, увидели в стаде маралов прекрасную девушку и мальчика с оленьими рогами. Они убили мальчика, схватили девочку, которая с воплем бросилась на труп брата и долго неутешно плакала. Предание гласит, что вследствие проклятия рогатой девы Асан и Карамурза не имели потомства.

Родоначальник Мурз кул, которому представили чудес-

ную деву, отдал ее в замужество за своего внука Яманкула. По свидетельству потомства, эта родоначальница была женщина не простая (в смысле сверхъестественном) и прославилась своей необыкновенной мудростью под именем Муюз-бабиче (рогатой матери). Говорят, что впоследствии она лишилась необыкновенного украшения своего черепа и, омывая голову водой, приказала служанке выливать воду в места, где не ходит человек. Служанка, исполнявшая эту миссию, из любопытства, а может быть, не находя соответствующего прикрытого места, решилась выпить заветную воду и от этого зачала сына и дала имя ему Джелден (от ветра).

Дикокаменные киргизы свято чтят память этой рогатой матроны и до сих пор в горестных случаях своей жизни приносят ее памяти жертвы рода с мольбами.

Она считается покровительницей озера Иссык-Куль и, по мнению народа, дух ее витает над Иссык-Кульской долиной.

Как видно, в этом также полном поэзии варианте, нет упоминания об Енисее и киргизах, когда-то населявших берега этой сибирской реки. И тем не менее исторические источники свидетельствуют о пребывании киргиз на Енисее. «(При покорении Сибири, — пишет Чокан Валиханов, — русские казаки нашли киргиз на Абакане и Юсе и вели с ними упорную борьбу с 17 до начала 18 века. С тех пор внезапно исчезло имя этого народа в сибирских летописях». Ориенталисты были очень удивлены, когда в конце XVIII века народ с названием «киргиз» был обнаружен в теперешней Киргизии. На основании этого факта многие историки считали, что киргизы с Енисея были насильно переселены в теперешнюю Киргизию народами-победителями. По другим предположениям сибирские киргизы, теснимые более сильными племенами, перекочевали в Тянь-Шань, присоединившись к родственным им бурутам. Между тем, сам киргизский народ в преданиях, собранных Чоканом, считал горы Тянь-Шаня исконной родиной, колыбелью киргизских племен. В то же время, например, по «Манасу» Бук-Мурун, сын хана Кукетая, чтобы праздновать годовую тризну своего отца, перекочевал с окрестностей Иссык-Куля в Южную Сибирь, на Иртыш и на Алтай.

Приводя подробно все эти данные, Валиханов пишет: «Вот в каком состоянии находится вопрос о происхождении нынешних дикокаменных киргиз. Для разъяснения этой путаницы мы обратились к народным преданиям и получили следующие данные:

1. народ, означаемый именем дикокаменных, черных киргиз называет себя просто киргиз, или, как сами они произно-

сят кыргызы. Название бурут, данное им калмыками и китайцами, совершенно им не известно;

2. кыргызы считают своей родиной Анджанские горы.

3. предания о переселении из Южной Сибири между ними не сохранилось, но есть предания о том, что они кочевками своими с юга на север распространялись до Черного Иртыша, Алтая и Хангая, а на Восток—до Урумчи. На основании этих данных мы думаем..., перекочевки их от Тянь-Шаня до Хангая и обратно продолжались и в последующие времена, что подтверждается и народными преданиями. Такие перекочевки остановились тогда, когда между Алтаем и Тянь-Шанем образовалось сильное владение ойратов или джунгаров». Это положение, выдвинутое Чоканом и подтвержденное последующими изысканиями востоковедов, является одним из блестящих научных достижений первого казахского ученого.

Мы не имели намерения взять на себя непосильную задачу излагать суть многочисленных научных достижений Чокана Валиханова. Но, заинтересовавшись суждениями ученого по поводу того, как казахи, сами того не ведая, стали прозываться «киргизами», а «кыргызы» — «бурутами» или «дикокамениными», увлеклись, вероятно, той бездной поэзии, которой наполнены самые строгие, основанные на неоспоримых фактах, научные доказательства казахского ученого. И эта удивительная особенность научного стиля Чокана Валиханова невольно обращает внимание на следующее. Весной 1856 года к исык-кульским киргизам царским правительством была направлена экспедиция полковника Хоментовского. Перед экспедицией начальством становилась чисто административная задача близкого ознакомления с киргизами, за год до этого добровольно ставших подданными Российской империи, и съемки их земель. Естественно, что эти цели были далеки от тех научных задач, которые ставил перед собой казахский ученый. Царский поручик, член экспедиции Чокан Валиханов мог спокойно заниматься определением численности населения, наличного количества скота, помогать или руководить работами по съемке местности, собирать другие данные, предписанные в программе экспедиции, и с чувством исполненного долга вернуться в Омск и продолжать службу в приемной генерала Гасфорта. Во всяком случае у тех, кто снаряжал экспедицию, ни до какого «Манаса», ни до какой истории киргизского народа дела не было. Следовательно, научный труд о киргизах явился следствием личного творческого импульса беспокойного и любознательного гения. Где этот импульс получил начало? Ехал ли Чокан с заранее составленной програм-

мой дотошно научно изучить край, или такая программа выработалась в ходе экспедиции по мере знакомства с киргизами? Можно наверняка утверждать, что было именно последнее, ибо история науки показывает, как за редкими исключениями получалось мало путного, когда человек с даром божьим размышлять, сопоставлять и находить незримые для обычного глаза связи явлений начинал работать по заранее намеченной программе и как самые неожиданные и выдающиеся откровения приходили к ученому там, где он, вольно или невольно следуя внутренней интуиции, отходил в исследованиях от намеченного. Трудно предположить, чтобы такая творческая личность, как Чокан Валиханов, с педантизмом посредственности запланировал открытия для науки киргизов, Киргизии «Манаса». Естественно, что он ехал в край сопредельных племен с жаждой увидеть новое, познать людей, их жизнь, нравы и обычаи. Но как обернется это познание, он вряд ли представлял. Вряд ли представлял то очарование и тот восторг, которые испытал он, слушая «Манаса», и ту творческую взволнованность, которая овладела им при раздумьях над содержанием «Манаса» как народного научно-исторического источника. Именно этой творческой взволнованностью можно объяснить те напряженные и кропотливые поиски, которые продолжал Валиханов после окончания путешествия, роясь в литературе и омских архивах и привлекая к этому делу друга Григория Потанина. От литературной и архивной работы он снова обращался к живым народным источникам, продолжая изучать киргизский народ и его страну при поездке в Иссык-Куль в следующем, 1857 году с целью подготовки Кашгарской экспедиции, и в 1858—1859 гг. по пути в Кашгар и обратно, когда ему пришлось углубиться в земли заиссыккульских киргизов.

Работы Чокана Валиханова о киргизах и Киргизском крае, объединенные позднее в объемистый труд «Записки о киргизах» и частью опубликованные при жизни автора в виде «Очерков Джунгарии», являясь одними из выдающихся научных достижений первого ученого казаха. Вместе с тем это — первое крупное научное исследование Чокана, где он во всем блеске показал свою многостороннюю эрудицию и свой громадный исследовательский талант. Чокан оказался подготовленным к этому первому исследованию не только своим общим интеллектуальным развитием, но и постоянным изучением прошлого и настоящего своего родного народа, своих родных степей. Материалы по родному краю до поездки Чокана на берега Иссык-Куля еще не оформились в виде цельных научных трудов, они хранились в памяти, в черновых тетрадях

и записных книжках, но и в этом виде они оказали громадную услугу ученому, дав возможность взглянуть на увиденное и услышанное в Киргизии глазами исследователя-творца, имеющего опыт в познании и раскрытии внешне малопонятной сути фактов и явлений. Громадное значение ученых изысканий Чокана Валиханова по Киргизии безошибочно сумел оценить П. П. Семенов-Тяньшанский, когда, посетив Омск в 1857 году, он познакомился с материалами, собранными молодым казаком за двухмесячное пребывание в Иссык-Куле, и, несмотря на то, что эти материалы были еще не полными, большею частью черновыми, великий географ по приезде в Петербург смело рекомендовал никому еще не известного юношу-ориенталиста из Омска в члены очень авторитетного в то время объединения ученых императорского Русского географического общества. Действительным членом этого общества Чокан был избран 21 февраля 1857 г.

Важно и другое. Ведь при работе над «Записками о киргизах» мысли ученого, сосредоточиваясь на изложении фактов, суждений, прогнозов и доказательств, в то же время обнаруживали многое такое, что относилось к далеким или близким аналогиям и связям. В этом смысле этот первый крупный научный труд, над которым с упоением работал ученый, был как бы огнивом, выбивавшим искры многих новых творческих замыслов, воплощением которых займется Чокан в дальнейшем. Таким образом, первое в истории цивилизации исследование киргизов и киргизского края, проведенное столь талантливо и на столь высоком научном уровне, оказало выдающуюся услугу и самому Чокану Валиханову, укрепив в нем веру в свои силы и возможности, обострив и развив неутолимую пылкость, отчеканив своеобразный чокановский способ диалектического проникновения в глубины явлений и научно-го видения сути вещей.

Есть еще одно обстоятельство, на которое, может быть, еще недостаточно обращалось внимания. Чокан по своему характеру не был сторонником душевных излияний, свои внутренние эмоции он не считал нужным делать достоянием даже самых близких. В своих трудах, связанных с изучением Киргизии и киргизского народа, он старается придерживаться лишь фактов. Он редко выдает свое отношение к ним, когда это выходит за рамки научного анализа и осмысления. Но по всему видно, что он очень полюбил киргизский народ. Иначе почему он с такой любовью и с таким тщанием создает портреты манапов Бурамбая и Сартая, мальчика-киргиза, киргиза в пестром халате, жанровый рисунок с тремя женщинами-киргизками. Стоит всмотреться в лицо манапа Бурамбая, на котором сквозь узкий разрез глаз искрит иронический ум бы-

валого человека, точно знающего цену всему, что его окружает, как станет понятным, почему этот глава крупнейшего киргизского племени Бугу первым пришел к единственно правильному выводу — вслед за соседями-казахами соединить свою судьбу с русскими, чтобы избежать китайско-кокандского господства, сопровождавшегося невиданным насилием и искусственным разжиганием диких инстинктов и страстей у простодушных кочевых жителей гор, что вело к межплеменной враждебности, грозившей при безоглядной смелости и храбрости киргизов (последнюю черту наших горных родичей Чокан особо подчеркивает) самоистреблением целого народа. А вот портрет другого манапа Сартая — правильное суровое лицо и зоркий, холодный, пронизывающий взгляд. Рядовой киргиз в ярком халате, должно быть, не из знатных, но как этот широколобый человек с большими глазами спокоен и полон чувства собственного достоинства; и мальчик, с детски нежного лица и смотрящих с улыбочиво-доверчивым любопытством глаз которого проглядывается будущий ум. Это лучшие портреты из всех, созданных Чоканом-художником. Этими портретами он с превосходной наглядностью показывал, какие интеллектуальные силы в нетронutom состоянии дремали в то время в киргизском народе. По всему видно, что Чокан был неравнодушен к судьбе киргизского народа. Иначе, чем объяснить, что больной Чокан Валиханов за несколько месяцев до смерти в письме генерал-губернатору Г. А. Колпаковскому беспокоится о не порядках в управлении киргизами. «В дикокаменной орде, — разъясняет он Г. А. Колпаковскому, — аристократического элемента не существовало исторически точно так же, как и централизации родового управления. Там каждый род управлялся своим бием. Случалось, правда, что некоторые манапы, сильные родовичами, успевали приобретать главенство, как Урман и Бурумбай, хотя это было насилие, но люди эти имели несомненные достоинства, один — храбрость, а другой — замечательный ум. Мы же, назначив ничтожного и известного лживостью Сарымбека в звание ага-манапа, случайное явление возвели в постоянное достоинство. Это уже само по себе ошибка». Причем, по-видимому, Чокан даже не отделял в своих думах, мечтаниях и действиях киргиз от казахов. Заканчивая это письмо, он пишет: «Прошу у вашего превосходительства снисхождения, что я решился написать о том, о чем вы меня вовсе не просили. Как киргиз я не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов относительно страждущих моих земляков».

Из отношения Чокана Валиханова к киргизам вытекает следующее. Чокан всею душой любил русский народ. Вся

его жизнь и деятельность пронизаны и освещены этой любовью. Ему было за что любить русских. Они ему дали возможность стать первым цивилизованнейшим сыном своего народа, они несли цивилизацию и знания в родные степи. Лучшие представители русского народа были душевно близки с Чоканом. Но Чокан любил и киргизский народ. Как ученый он мог бы остаться к этому народу холодным и равнодушным, подобно тому, как многие работники науки часто, приобретая новые объекты исследований, новые интересы, остывают к пройденному и не считают нужным возвращаться к нему. Но Чокан был истинным интернационалистом. Он любил другие народы не из утилитарных соображений. Добрые, благородные чувства ко всем народам были неотъемлемой частью его души, его естества; эти чувства Чокан не мог декларировать, не мог он о них вещать, он просто носил их в сердце. И именно поэтому Чокан Валиханов, выступая, в соответствии с наставлениями друга своего Ф. М. Достоевского, просвещенным ходатаем за родные степи и за казахский народ, не забывал и полюбившихся киргизов; и, по существу, как видно из приведенного отрывка письма Г. А. Колпаковского, выступал ходатаем и за киргизов, не отделяя их от родных казахов.

Здесь, может быть, к месту указать еще об одном обстоятельстве: Чокана Валиханова принято представлять как бесстрашного путешественника в Кашгарию. И это превратилось уже в расхожую легенду при характеристике деяний Чокана. Но, если вдуматься повнимательнее, это повторение избитых восторгов по поводу смелости, хладнокровия и выдержки, проявленных молодым киргиз-кайсаком в стране, где головы людей отрубались с такой же легкостью, что и головы домашних животных, кажется во многом обедняет облик гениального ученого, хотя это было на самом деле так. Здесь не учитывается, что преданность науке требует не меньшей смелости, не меньшего нравственного напряжения. В отличие от героизма обычных смельчаков, проявляющих себя в нужный и часто не нужный момент, героизм истинного ученого, жертвующего всем ради науки, внешне бывает большею частью мало эффективен. Не всем выпадает случай проявить этот героизм и эту жертвенность, как, например, Архимеду, который при появлении убийцы сказал: «Не тронь моих чертежей», совершенно не думая о собственной жизни. Можно твердо утверждать, что исключительной научной плодотворностью путешествия в Кашгарию Чокан обязан той смелости, которая была присуща натуре ученого и которая позволила ему необратимо войти в ворота науки, где висела та же надпись, что и на во-

ротах дантовского ада: «Не смелый, не входи». Из этого не вытекает, что никто, кроме Чокана, не смог бы посетить Кашгарию и вернуться оттуда живым и невредимым. Такой смельчак, вероятно, был бы найден. И все же повторить подвиг Чокана Валиханова не смог бы никто. Никто не смог бы в течение пяти месяцев пребывания в Кашгарии в образе купца Алимбая, рискуя ежечасно, ежеминутно быть узванным и лишенным жизни, кропотливо собирать научные данные, легшие потом в основу еще более объемистого, чем «Записки о киргизах», труда «О состоянии Алтышара, или Шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарии), в 1858—1859 годах», большая часть которой была наряду с «Очерками о Джунгарии» опубликована еще при жизни автора и принесла ему всемирную известность. Здесь же следует сказать, что не все собранные Чоканом научные данные вместились в это произведение. Судя по архивным данным, так же, как в случае работы над «Записками о киргизах», осталось много сведений и фактов, ведущих к новым научным соображениям и к новым научным изысканиям. Только фанатично преданный науке Чокан Валиханов мог на виду пирамиды из человеческих голов пренебрегать опасностями и заниматься делами ученого. И в этом смысле его подвиг ничем не отличается от подвига Архимеда, продолжавшего думать о своих чертежах под мечом врага. Из этого следует, что Чокан Валиханов, как путешественник в таинственную и страшную Кашгарию, ценен для нас не как смельчак, переборовший ради исполнения предписанного невозможные тревоги и страхи, а как ученый, которому ничего не стоили эти тревоги и страхи, когда перед ним маячил ключ к познанию научных тайн, заключенных в малоизвестном для науки тюркском Востоке. Изучающим жизнь и творчество Чокана никогда не следует, вероятно, забывать об этой истине.

* * *

Не современниками дано постичь и оценить многообразие внутреннего мира и величие деяний гениев. Только гениальный Белинский, единственный раз испытав на себе сумрачный тяжелый взгляд гусарского поручика Лермонтова, мог назвать его могучим духом. Мы имеем много отзывов современников о личности Чокана, хотя из знавших Чокана, может быть, лишь гений Достоевского постигал и вполне оценивал неповторимо богатую натуру его друга. Вот некоторые из них. «Все, что мне приходилось читать из его сочинений, носит несомненную печать громадного таланта» (А. К. Гейнс), «Как блестя-

ший метеор пролетел над нивой востоковедения... Чокан Чингисович Валиханов» (Н. И. Веселовский). «Чокан Чингисович — покуда единственный феномен между киргизами, и в наших оренбургских степях, может быть, долго еще ждать такого явления». «Чокан Валиханов — такая способная, развитая и дельная личность, какой не появлялось ни между одними инородцами сибирскими». Даровитость Чокана не могли не отметить даже недруги. «Весьма ловкий и развитый азиатец» (генерал-губернатор А. О. Дюгамель). «Молодой и ловкий киргиз» (генерал-квартирмейстер И. Ф. Бабков). Все эти отзывы, высоко характеризующие личность Чокана, явились результатом, в одних случаях, обаяния личности ученого, в других — чтения его трудов, в-третьих — служебных знакомств и взаимоотношений, и ни в одном случае не были следствием всестороннего изучения личности, деятельности и творчества Чокана. И в каждом случае носят на себе печать известной односторонности. Однако, надо сказать, что хорошо знать Чокана не могли и очень близкие друзья, такие, как Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев. Потомство не может быть неблагодарно этим двум деятелям русской культуры. Они в своих воспоминаниях и статьях донесли до нас живой облик Чокана Валиханова. Оба они относят своего друга к разряду необыкновенных личностей. В этом они не ошибались. Однако некоторые их суждения и штрихи, невольно искажающие истинный облик Чокана Валиханова, потомками не могут быть приняты. И не от желания навести хрестоматийный глянец на образ великого человека, а от того, что эти суждения и штрихи находятся в диссонансе со всеми данными, которые мы теперь имеем; от того, что большое видится на расстоянии.

Г. Н. Потанин пишет: «Чокан был большой лентяй. У него хватало терпения записать сказку или предания, но привести свои бумаги в порядок он никогда не мог». Надо знать характер Григория Николаевича Потанина, чтобы понять невинную природу этого упрека Чокану. Естественно, что для неторопливого, спокойного, педантично аккуратного Г. Н. Потанина беспорядок в бумагах Чокана представлялся чуть ли не самым страшным злом и он, пожалуй, не раз ворчал на сверстника и друга Чокана за этот беспорядок, и в поздних воспоминаниях старый Потанин с той же юношеской непосредственностью, что и при Чокане, продолжает ворчать на него. Такая оговорка чрезвычайно необходима, ибо читатели воспоминаний Потанина могут понять эти его слова в прямом смысле. «К науке он относился с азиатско-аристократической небрежностью» — продолжает Г. Н. Потанин. Здесь Г. Н. Потанин явно оши-

бается, несмотря на то, что против подобных ошибок гениально предупреждал Пушкин. Дело в том, что выдающиеся ученые, налету схватив факты, запомнив их до деталей, как правило, выводят из них изумительно-правильные, стройные суждения, скрывая при этом громадную внутреннюю работу под внешней беззаботностью. Ученые, добивающиеся подобных результатов долгим, кропотливым трудом, черепашьям движением от факта к факту, от вывода к выводу, никогда не понимали орлиного взлета воображения гениев. Потанин не мог, конечно, понять, что то, что он называет с намеком на национальную особенность «азиатско-аристократической небрежностью», на самом деле являлась моцартовской небрежностью. Эта вечная проблема Моцарта и Сальери будет, по-видимому, существовать во все времена, пока существует человечество. «Жизнь в Петербурге и знакомство с кутящей богатой

молодежью отразились дурно на его привычках о н в д р у г п р и о б р е л (разрядка наша — Б. Е.) такие привычки, как будто вырос в положении барчонка. Входил и выходил из дома, не запирая дверей, кто-нибудь другой был обязан запираить за ним. Встав с постели, он призывал своего слугу киргиза; опрометью бегал киргиз, неся лисий бешмет, и держал его в воздухе над спиной Чокана, не смея положить его. Чокан молча и рассеянно стоял посреди комнаты и не отдавал приказания; киргиз не смел четверть часа двинуться с места и стоял как вкопанный с распростертою в воздухе шубой. Таких барских привычек образовалось у него много».

В этой цитате поражает выражение «вдруг приобрел»: вот это вдруг, намекающее на несвойственное Чокану легкомыслие, наводит на некоторые размышления. Потанин здесь, кажется, знал, но не вполне учитывал одну особенность натуры Чокана, на которую указывал друг последнего С. Я. Капустин: «Кажется, ни одна манера, ни одна черта характера кого-либо из его знакомых или раз виденных им людей не ускользала от его внимания, не получив известн го рода осмысленности. По нескольким особенностям физиономий, по манере держаться, по схваченному налету слов Чокан умел очерчивать целый характер, делать крайне остроумные предположения о его прошлой жизни, о его будущих похождениях». Тот же С. Я. Капустин отмечает «его всегдашнюю склонность облекать свой рассказ в ироническую форму, ловко подделываться под тот или иной способ выражения мыслей действующих лиц рассказа и дополнять все это изумительной мимикой. Можно полагать, что подвела Г. Н. Потанина необыкновенная артистическая одаренность Чокана, его неподражаемая способность к розыгры-

шам. Сам же Г. Н. Потанин пишет, что Чокан «...иногда приписывал себе гнусные проступки, которые он не совершал». Причем, по-видимому, он рассказывал так искусно, что друзья не всегда отличали правду от неправды. Вот пример этому, приведенный самим же Потаниным. «Чокан рассказывал, что однажды, когда он изображал гром и молнию Невского проспекта» (современное выражение «Искры»), т. е. когда шел по Невскому, отпустив на длинном ремне саблю, Тургенев удостоил его своим вниманием и наступил ему на саблю». Затем Потанин добавляет: «Это верно, Чокан присочинил». Г. Н. Потанин хорошо описал одну особенность в характере Чокана: «Не щадил он своих ближайших друзей и смеялся не только над смешными действительно чертами или пошлостью, но и над физическими недостатками. Но это не мешало обнаруживать по временам самую нежную привязанность к своим друзьям, особенно после длинной разлуки. Но проходит месяц, другой, и эта привязанность куда-то прячется. Точно он не видит хороших качеств своего друга, а видит в нем только то, что мелочно и пошло. И он начинает его пилить и язвить. Нужно, чтобы с другом что-нибудь случилось — разлука или тяжкая болезнь, чтобы в Чокане снова обнаружилась с прежним жаром привязанность к другу и нежная заботливость». В этих словах чувствуется, что Г. Н. Потанину так и осталось непонятной эта точно описанная противоречивость в характере его друга. Между тем, в этом мнимом противоречии и заключалась национальная особенность юмора Чокана Валиханова. Склонность к постоянному разыгрыванию друзей-сверстников Чокан усвоил от своего народа. В аулах казахи-ровесники, вышучивая друг друга, только в редких и особо тяжелых случаях считали незтичным высмеивать физические недостатки наряду с другими. В Алма-Ате проживают виднейшие казахские писатели Габит Мусрепов и Габиден Мустафин. Эти два ветерана нашей словесности идут рука об руку еще со времен, когда зачиналась казахская советская литература. Их взаимная нежная привязанность известна всем. Но если послушать, что они говорят друг о друге в глаза и за глаза, можно подумать, что это злейшие враги, никогда не щадившие друг друга. Назвать друга в глаза и за глаза «кривоглазым болтуном», «уродом-горбуном», «жалким хромцем» с присочинением подходящих случаю небылиц было привычным выражением степного юмора. В этом был свой народный резон: физический недостаток перестает им быть, если он является предметом не жалости, а доброго смеха на основе

здорового юмора. Можно представить себе, как изощрялся Чокан, разыгрывая, например, своего друга-ровесника Гришу Потанина. И одним из славных проявлений юмора Чокана следует считать, что этот киргиз-кайсак, когда-то в кадетском корпусе рядом с Гришей еввший кашу из оловянной миски, вдруг враз превратился в барина, которому больше нечего делать, как лениться, и отдавать глупые приказания опрометью и без толку шарахающимся слугам. Так испытывать Г. Н. Потанина Чокану было просто интересно. Он знал, с каким предубеждением относился не выходивший из нужды разночинец-п. ебей Потанин к проявлению всякого барства. Он разыгрывал Потанина и разыгрывал так искусно, что тот все принимал за чистую монету. Стоит представить, какие чертики играли внутри Чокана, когда увидел, как страдальчески морщится его друг, с жалостью глядя на вновь обретенного Онегина и Митрофана в одном лице! Потанин должен был смотреть на Чокана, так быстро превратившегося в сибарита и барина, именно с жалостью, ибо иные чувства не мог он иметь в тот момент, когда он видел признаки того, как его любимого друга быстро засосали пошлые привычки так называемой светской среды. Нам же теперь жалко искреннего, преданного дружбе добрейшего Потанина, что он сохранил в себе образ Чокана с этими невольными заблуждениями, хотя он много раз, настоятельно и убедительно подчеркивал неподдельный демократизм Чокана. Именно Потанин рассказал о случае, которому он, по-видимому, был свидетелем, когда на майском параде в Петербурге один молодой князь, шокированный тем, что его толкнул серый кафтан, сказал, презрительно морщась: «Почему не почистят публику?» На что Чокан быстро заметил: «А вы не читали, как Разин чистил публику?»

Из всех сверстников наиболее близко знал Чокана Г. Н. Потанин. Он с ним был близок по духу, по мечтаниям. Оба они были лучшими учениками Омского кадетского корпуса и своей дальнейшей деятельностью составили высокую честь этому заурядному учебному заведению Сибири. Н. М. Ядринцев, оставивший воспоминания о Чокане, познакомился с ним в 1860 году, в пору расцвета его научной и общественной деятельности. Н. М. Ядринцеву, купеческому сыну из Тюмени, в том году было восемнадцать лет. Далее он встретился с Чоканом, как пишет Н. М. Ядринцев, в Омске в 1863 году. Эти последние встречи не могли быть долгими, потому что годы после Петербурга Чокан жил в основном в степях. Естественно было бы полагать, что восемнадцатилетний юноша не мог быть судьей для феноменально образованного Чокана. Однако юноше

вполне могло казаться, что он знает Чокана и может оценить его поведение, поступки, деятельность и характер безошибочно. В этом много было, конечно, от юношеского апломба, но вместе с тем срабатывал некий рефлекс, связанный с тем, что, как выразился С. Я. Капустин, «самый гуманнейший сибиряк и россиянин относятся к инородцу как взрослый к ребенку». В воспоминаниях, написанных лет через тридцать после смерти Чокана, уже пожилой Н. М. Ядринцев с наивной непосредственностью выложил свои юношеские впечатления такими, какими они были в то время и сохранились в памяти. Мы, потомки, должны быть благодарны этому доброму приятелю Чокана за эту юношескую непосредственность. Ибо это невольное, непреднамеренное заблуждение Н. М. Ядринцева позволяет нам теперь полнее раскрыть характер Чокана; было бы хуже, если бы автор стал анализировать свои тогдашние впечатления и стал вносить запоздалые коррективы. Вот каким выглядел Чокан в глазах Н. М. Ядринцева. «В Петербурге я встретил Чокана Валиханова офицером как раз в ту пору его славы, он только что совершил путешествие в Кашгар, ориенталисты с ним заводили знакомство и я его застал с разными восточными манускриптами и картами. Тем не менее я скоро заметил, что он не был усидчивым ученым и тружеником, все ему давалось по части творческой литературы легко потому, что он владел киргизским языком в совершенстве. Китайского он не знал, хотя и интересовался китайскими авторами в переводах. Он часто посмеивался над своими знаниями и говорил, что он ставит один китайский знак для счастья, когда играет в карты. Любил он представлять из себя делового человека, но скорее рисовался. На Невский в известный час он выходил гулять непременно с портфелем. На самом деле он вел весьма рассеянную жизнь». Непосредственно после смерти Чокана, в некрологе, написанном Н. М. Ядринцевым, «о рассеянной жизни» Чокана читаем еще четче: «Как в г. Омске, так и по приезде в Петербург Валиханов вращался в пустой военной среде, где на первом плане баклушничество, кутежи и бессмысленная светская жизнь. В таких условиях он увлекался сам светским лоском и праздною гусарскою жизнью». Получается, что манускрипты и карты, за которыми заставлял его Ядринцев, никак не характеризовали образ жизни приятеля-казаха, а более характеризовали этот образ жизни гусарство и баклушничество; получается, что все, чем славен Чокан, он делал походя, в промежутках между забавами... Какое глубокое заблуждение! И все же мы должны констатировать, что такой образ Чокана в памяти Н. М. Ядринцева существовал,

и он честно представил его нам, потомкам. Было несколько причин, вследствие которых заблуждался Н. М. Ядринцев, и, заблуждаясь, очень жалел Чокана за праздно проведенную жизнь, благодаря губительному влиянию среды. Остановимся на этих причинах. Н. М. Ядринцев объем научной деятельности Чокана представлял по тем печатным извлечениям из его трудов, которые публиковались в то время. «Ничтожной печатной деятельностью» — назвал Ядринцев, говоря о публикациях Чокана. Он не знал о громадной творческой продукции, которую имел в то время Чокан и о которой редко кому говорил. Одним из таких редких людей, кого посвящал Чокан в свои творческие тайны, был П. П. Семенов-Тяньшанский. Вот что пишет этот, и более авторитетный и более осведомленный, чем Н. М. Ядринцев, свидетель. «Те отрывки из трудов Валиханова, которые были напечатаны в изданиях Общества, далеко не исчерпывают всех собранных им обширных и богатых материалов, касающихся до географии, истории и этнографии среднеазиатских государств и в особенности киргизского народа. Для собрания этих материалов Валиханов не щадил ни труда, ни пожертвований: тщательно записывал предания, легенды и поэмы своего народа, изучал среднеазиатские наречия, дорогою ценой скупал древности, находимые туземцами в старых развалинах и могилах, с опасностью для жизни проникал в буддийские монастыри и доставал там редкие рукописи». Наверное, были и кутежи, и другие гусарские забавы, но вряд ли они занимали непьющего Чокана столько, сколько он, мистифицируя друзей, рассказывал о них, да рассказывал так, что у таких свидетелей, как юный Н. М. Ядринцев, манускрипты и карты, за которыми он заставлял Чокана и которые в действительности для этого труженика были главным занятием, вспоминались потом, как случайность, а эта легенда, сочиненная самим же Чоканом, о рассеянной и праздной гусарской жизни, становилась в памяти характерной. К тому же, по-видимому, Н. М. Ядринцев представлял службу Чокана в Азиатском департаменте, как службу сыновей санных отцов, причислявших своих недорослей по протекции в тот или иной департамент, между тем, как сам недоросль не имел и понятия об этом департаменте. Никак не мог Чокан только казаться деловым человеком, как это думает Н. М. Ядринцев. Для инородца, выбившегося в люди из азиатского кадетского корпуса благодаря личным достоинствам, надо было служить, а не числиться. Если бы было последнее, вряд ли такие деловые деятели того времени, как министр А. М. Горчаков (лицейский товарищ А. С. Пушкина), директора Азиат-

ского департамента Е. П. Ковалевский, Н. П. Игнатьев ему назначали по службе двойное жалование, отпускали на любой срок с сохранением этого двойного содержания для лечения в степи и с нетерпением ждали его в Петербурге. «Китайского он не знал», — утверждает Н. М. Ядринцев. Мы знаем, что Чокан владел немецким и французским языками. Наверное, для овладения этими языками даже при способностях Чокана Валиханова требовалось время, и утверждение Н. М. Ядринцева не заслуживало бы упрека в незнании им друга, если бы не было свидетелей о том, что этот удивительный человек, посмеиваясь над своими знаниями, успел как-то познать и китайский язык. Вот одно из этих свидетельств. В деловом письме Семиреченскому губернатору Г. А. Колпаковскому Чокан Валиханов делает добавление: «Так как лист цзян-цзюна был, по словам манчжуров, написан таранчой, не совсем хорошо знающим язык их, и так как в Верном перевод прежнего листа был сделан при их помощи, они просили меня перевести вместе с ними лист цзян-цзюна. Я осмелился поэтому распечатать и сделать перевод. Надеюсь, что ваше превосходительство не будете в претензии за это самоволье». Далее следует текст письма китайского цзян-цзюна в переводе Чокана. Вот к каким заблуждениям приводила постоянная склонность Чокана к юмору, к мистификации, за которыми оставались часто незримые для даже близких друзей его внутренний мир, его сокровенные думы и мечтания, боли и сомнения.

Чокан остро шутил над друзьями и близкими, не щадя их. Еще острее шутил над собой, еще менее в смехе щадил он себя. Такова была его натура, национальная черта его характера. «Он посмеивался над своими знаниями», — пишет Н. М. Ядринцев, совершенно не подозревая, что предметом язвительных шуток Чокана прежде всего был он сам, а потом уж другие. Обратите внимание на два сохранившихся рисунка, изображающих Г. Н. Потанина. На обоих рисунках Чокан, мастерски достигая портретного сходства, в то же время язвит над простодушием и казацко-крестьянским обликом Потанина, над отсутствием у друга утонченной интеллигентности, долженствующей быть у образованного человека. Чокан как будто говорит: «Учился, учился ты, Гриша, а остался мужиком-мужиком, казак-казаком!» Это особенно ярко выражено в наброске пером: так и кажется, что на бульбовских мужичко-казацких усах Потанина не просохла еще горилка. Еще ехиднее изобразил Чокан сам себя. Лежит на кушетке, небрежно развалившись, довольный собой молодой человек в офицерском мундире; одну ногу уперся о ломберный столик,

другую положил на нее; руки в карманах расстегнутого кителя, во рту дымящаяся сигара; ни дать, ни взять Хлестаков, только что получивший из деревни от нечающих души стариков последние деньги и находящийся в предвкушении, как славно проведет теперь он на эти деньги время! Надо было обладать безудержным природным артистизмом, чтобы так искусно и остро шутить над недостатками друзей, еще более над своими. Естественно, что и пресловутое барство, и кутежи, и баклушничество — все эти розыгрыши, часто принимавшиеся друзьями за правду, были в то же время смехом Чокана над собой, смехом сильного человека над своими действительными и мнимыми слабостями человека, способного при необходимости обуздать эти слабости.

Нельзя пройти мимо другого ошибочного утверждения Н. М. Ядринцева. «В Петербурге, — пишет Н. М. Ядринцев, — он также не был особенно счастлив в своих знакомствах. Сойдясь с литературным кружком Достоевского, он не мог много заимствовать от него и сделаться серьезным тружеником науки. В этом кружке он познакомился с поэтом Всеволодом Крестовским и во время гусарских разговоров давал ему шутя темы для его испанских стихотворений, а сей поэт, питаясь красами остроумия талантливого Валиханова, немедленно строчил свои романы». Все это, конечно, написано под впечатлением от рассказов самого Валиханова. А как он рассказывал-мы уже знаем. Теперь, конечно, никто не поверит, чтобы Достоевский и его кружок не способствовали Чокану сделаться серьезным тружеником науки», то знакомство его с этим кружком не было счастливо. Мы знаем теперь, что в истории, может быть, не было более труженика-писателя, кроме разве О. Бальзака, как Достоевский. Разве можно говорить о влиянии какого-то Крестовского, когда в этом же кружке находился, возглавляя его, Достоевский. Крестовский бывший моложе Чокана на пять лет, был скорее мишенью его шуток и мистификаций, чем лицом, влиявшим на поведение и образ жизни Чокана. А вот благотворное влияние Ф. М. Достоевского, А. М. Бекетова, о чем свидетельствует Г. Н. Потанин, действительно было. Близость и знакомство с этими и другими замечательными русскими людьми были для Чокана, пожалуй, одним из выдающихся жизненных приобретений. О замечательной роли Ф. М. Достоевского в жизни Чокана мы уже говорили. Чокан, как можно судить по дневникам и научным трудам, увлекался ботаникой, и это могло послужить поводом для сближения с А. Н. Бекетовым. Но более, может быть, привлекал его ученый ботаник, как человек, ибо, как писал великий

внук поэта А. А. Блок про своего деда, — «А. Н. Бекетов ...принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает». Можно заранее полагать, что Чокан не мог длительно и систематически предпочитать гусарские забавы общению с такими людьми, как Ф. М. Достоевский, А. К. Бекетов, А. Н. Майков, с людьми, своим благородством, мудростью, широтой натуры и многознанием, более импонировавшими натуре первого казахского ученого; иначе трудно было бы объяснить привязанность к этим выдающимся личностям; привязанность, которую сохранил Чокан до конца жизни. Факты свидетельствуют о том, что петербургские знакомства Чокана были для него счастливыми, они, эти знакомства, духовно обогатили его, принесли ему большое нравственное удовлетворение.

* * *

Чокан Валиханов прожил всего двадцать девять лет с небольшим. С великой горечью потомки должны констатировать, что его активная научная деятельность закончилась, когда ему было всего навсего двадцать пять лет. Все его научные труды, кроме трех статей («Записка о судебной реформе»), «О мусульманстве в степи», «О кочевках киргиз» и небольших заметок), датируются не позже 1860—1861 годами. Причиной была болезнь, которая давала себя знать до этого, но особенно активизировалась во время пребывания в Петербурге в 1860—1861 годах. Чокан Валиханов выехал в Кашгарию с караваном купцов в июне 1858 года и вернулся в Верный (Алма-Ату) в апреле 1859 года, пробыв в путешествии девять месяцев, из них пять в самом городе Кашгаре. Генерал-губернатор Г. Ф. Гасфорт, возгордясь блестящим исходом предприятия, порученного Чокану Валиханову, доносит министру иностранных дел А. М. Горчакову: «Караван, посланный в мае минувшего года в Кашгар, успешно закончив свои торговые дела, возвратился в Семипалатинск. Вместе с тем прибыл в город Омск и находившийся при этом караване поручик султан Чокан Валиханов, на коего, согласно высочайшей воле, возложено было известное Вашему сиятельству тайное поручение». Затем, перечислив опасности, пережитые Чоканом, а также указав на значительность полезных и желанных правительству сведений, вывезенных офицером, которые он, Гасфорт, повелел набросать на бумагу, пишет: «Но как всего виденного и слышанного не перепишешь, то полагал бы полезным послать

означенного офицера в С.-Петербург для изустных пояснений в Азиатском департаменте, что и исполню, как только записка им будет составлена и он поправится здоровьем, расстроенным от многих лишений, коим подвергался в течение года».

Здесь обращает внимание два обстоятельства. Гасфорт правильно заметил, что у наблюдательного, обладающего редкой памятью Чокана действительно было столько сведений, что все их невозможно было перенести на бумагу. Он заметил и другое: Чокан вернулся из путешествия больным. Министерство иностранных дел торопит Гасфорта с присылкой поручика Валиханова с отчетом. Валиханов не может выехать, потому что, как рапортует Гасфорт министру, он «прибыв в Омск, сильно занемог, так что при его природной слабой организации нельзя было определить исход этой болезни, долго продолжавшейся». Чокан смог выехать в Петербург только в конце января 1860 года. В Петербурге он находился до мая 1861 года, о чем свидетельствует письмо доктора Азиатского департамента Министерства иностранных дел Н. П. Игнатьева от 22 мая 1861 года генерал-губернатору Западной Сибири А. Ю. Дюгамелю с уведомлением о командировании штаб-ротмистра Валиханова в родные степи, для лечения. Он болен тяжело. У не умеющего жаловаться Чокана в письме к Ф. М. Достоевскому вырывается: «Здоровье мое не хуже, и не лучше, покашливаю, как прежде, хотя пью кумыс, — впрочем, что скажет степь, вольный воздух, повозки». Письмо это писалось Чоканом сразу же после прибытия из Петербурга в родные степи, а в начале 1861 года А. Н. Бекетову он вынужден сообщить: «Здоровье мое все еще плохо». К осени 1862 года, по-видимому, наступило облегчение, ибо в сохранившихся нескольких письмах этого периода жалоб на здоровье не имеется. Но все же об окончательном выздоровлении, о выезде на свое постоянное место работы в Петербург, в Азиатский департамент Министерства иностранных дел приходилось только мечтать. В 1863 году он продолжает болеть, ввиду этого непосредственный петербургский начальник Н. П. Игнатьев еще раз внушает омскому начальству, что Валиханов находится на родине в командировке, для лечения. Чокан продолжает болеть и на запрос Н. П. Игнатьева направить его в Петербург, на место службы, из Омска в апреле 1864 года отвечают: «Штаб-ротмистр Валиханов, прибыв в город Омск, по болезни не смог следовать в С.-Петербург и остался для излечения болезни в городе Омске». Насколько тяжело в это время болел Чокан, свидетельствует прибывший к весне 1864

года в Омск Потанин. «Он прислал за мной, так как не мог к мне прийти. Я застал его лежащим посредине комнаты под киргизскими лисьими шубами. Подле него на полу лежала раскрытая книга Абель Ремюза.

Чокан встретил меня словами «разлагаюсь»... Он был грустен и жаловался на начальство».

Чокан проболел три года с короткими периодами облегчения. («Полное здоровье ему не возвращалось», — замечает Потанин). И когда наступило последнее, наиболее обманчивое облегчение, он едет в отряд Черняева, посланный против Кокандского ханства: едет потому, что пребывание в желанном Петербурге ему категорически противопоказано. Тем не менее, он полон мечты и замыслов. Перед выездом на юг, весной 1864 года он пишет из Омска К. Н. Гутковскому: «Завтра мы выезжаем: я в Аулие-Ату, чтобы пожинать победоносные лавры, а Муса (дядя Чокана Муса Чорманов — Б. Е.) — к себе в Баян-аул, чтобы подвизаться в доблестях гражданина. Думал в Питер, а попал в страну диких и каменных киргизов». Выезжая в Аулие-Ату, он мечтает: «Еду... для того, чтобы оттуда через Ак-мечеть проехать на Оренбург. Если бы это удалось, было бы хорошо». В июле 1864 года Чокан, разочарованный службой в царском экспедиционном отряде покидает его и приезжает в аул одного из султанов Большой Орды Тезека, дальнего родственника (Тезек, так же, как и Чокан, был правнуком Аблай-хана, только от другой прабабушки), и в следующем 1865 году, в апреле гения казахского народа не стало. Он был похоронен не вдалеке от Алма-Аты, возле станции Куян-куз, тогдашнего Копальского уезда Семиреченской области.

Больной Чокан пишет Ф. М. Достоевскому: «Итак, я остаюсь в Орде, лето проведу также в Орде, чтобы взять полный курс лечения кумызом, и к осени, если останусь жив, явлюсь в Петербург и обниму тебя так здорово, что, наверное, закричишь. В степи, брат, только скучновато, зато ленюсь, как хочу, и никто не мешает. Следуя совету одного доктора сибирского ...я дал зарок ничего не делать, ничего не пишу, ничего не читаю, одним словом, не изнуряю умственных способностей — в этом заключается мое лечение и от этого происходит моя тоска. Здесь модно было бы найти развлечения другого рода: охота с орлом, собакой, ружьем, но проклятое мое здоровье это никоим образом не позволяет. Лежи, да и только».

Чокан не относился к тем натурам, которые находят возможным докучать близким и друзьям своими болями и горес-

тями. И если в приведенном письме с присущим ему налетом легкого юмора он сообщает «голубчику Феде» о своем вынужденном ничегонеделании («скучновато, но зато ленюсь, как хочу»), то это означает, что в этот момент Чокану было действительно тяжело, и, наверное, очень тяжело. Да и подумать только. Не лишенный еще юношеской подвижности, деятельный, веселый, жизнерадостный молодой офицер, исполняющий службу при самых благоприятных обстоятельствах в центре, где делается царская азиатская политика; выдающийся ученый, близко общающийся с самыми высокоинтеллектуальными людьми своего времени, вынужден долгое время пребывать чуть ли не в постельном режиме летом в юрте, зимой — в деревянном домике отца, страдаемый тяжелым физическим недугом, к которому невольно прибавляется не менее тяжелый нравственный недуг, связанный с его полнейшим духовным одиночеством. Самое страшное заключается в том, что он живет в любящем окружении и сам любит это окружение, но от этого его духовное одиночество, его нравственный недуг не уменьшается. Лучше всего об этом написал сам ученый в письме к поэту Майкову. «Особенно дороги стали мне мои петербургские друзья теперь, когда я живу в степи, хотя среди родных и окруженный милыми земляками, но разъединенный с ними чем-то неодолимым. Как я не стараюсь с ними, но все так-то не удается. Иногда все идет хорошо, но как только дело доходит до убеждений, до серьезных разговоров, мы начинаем расходиться. Мои родные — люди добрые, честные и очень неглупые, но все-таки — киргизы, и притом киргизы-аристократы (дикие аристократы, надо заметить, несколько сноснее образованных, потому, что проще их) и потому имеют множество предрассудков и качеств. Особенно выделяется непомерное упорство и тщеславие (последнее качество можно назвать национальным). Понятно после этого, что они имеют слишком высокое мнение о себе, о своем уме и проч. И понятно и то, что всякие советы или споры только раздражают их тщеславие и укрепляют упорство. Я вижу теперь, что трудно одному бороться со всеми, вижу, что истина, как бы она ни была светла, изгнать самых неверных заблуждений, когда они освещены временем, и особенно у киргизов, которые до сих пор держатся шаманства, примешивая к нему гомеопатическую дозу ислама. Основание этой религии, как известно, составляет боготворение умерших предков, через это все обычаи и предрассудки предков делаются для киргизов священными. К тому же у киргизов много песен (я

разумею это слово в том смысле, в каком разумели его в средние века, например, песня о Роланде), бездна поговорок и афоризмов, сочиненных когда-то их умными отцами. На все свои убеждения и обычаи они находят готовый аргумент старины и думают, что правы. Я теперь сам начинаю избегать споров с ними, — это, как я заметил не раз, ставит меня же в смешное положение, оно возбуждает в них жалость, какую мы чувствуем при разговоре со слабоумными простаками. "Сказки собирает, — говорят киргизские старейшины про меня, — слабодушествует" (это говорится про гуманность). ...С местными султанами и богачами из черной кости я также не лажу, потому что они дурно обращаются со своими бывшими рабами*, которые теперь, хотя и освобождены, но живут у них, не зная, как уйти. Я требовал не раз, чтобы они платили им жалование и чтобы обращались, как с людьми, в противном случае грозил законом. Зато с пролетариатом степным я в большой дружбе и скоро сходимся». Тяжелы были условия, в которых пребывал гений и его дружба с бедняками, с этими задавленными и простодушными детьми природы, не получившими никакого умственного развития, вряд ли компенсировала ту боль, которую приносила стена отчуждения от родных и близких. Мало того, общение с бедняками, как пишет сам Чокан, приводило к попыткам заступиться за них. Из этого заступничества ничего путного, кроме усиления враждебности со стороны степных властей.

Друзья познаются в беде. Больной Чокан Валиханов получает громадную нравственную поддержку со стороны петербургских друзей. Директор Азиатского департамента сановный государственный деятель генерал-адъютант Н. П. Игнатьев заботился о больном Чокане Валиханове. Это было продолжение того отношения, которое проявлял к молодому казаку бывший директор этого департамента, сенатор и ученый Е. П. Ковалевский, который без обиняков называл Чокана гениальным молодым человеком. Забота со стороны Н. П. Игнатьева была настолько трогательной, что стоит привести сохранившиеся письменные свидетельства. Чокан выехал из Петербурга домой, в степи. Н. П. Игнатьев обращается к генерал-губернатору Западной Сибири со следующим письмом. «М. Г. Александр Осипович. Причисленный по высочайшему повелению к Азиатскому департаменту, состоящий по кавалерии штаб-ротмистр султан Валиханов командировается в Область сибирских киргизов. Справка сия дана департаментом г. Валиханову собственно для того, чтобы предоставить ему возможность

* Рабами считались пленные.

лечения кумысом, поправить на родине его расстроенное здоровье. Вследствие сего, рекомендуя вашему превосходительству сего молодого офицера, в котором я принимаю живое участие по его способностям и пользе, какую от его сведений можно ожидать для службы, я убедительно прошу Вас, в личное мое одолжение, оказать ему ваше благосклонное внимание и в случае надобности покровительство Ваше». После приезда Чокана в Петербург министр иностранных дел Горчаков, ознакомившись с результатами поездки поручика Валиханова в Кашгарию и очень довольный им, не только способствовал присвоению ему следующего воинского звания штаб-ротмистра и награждению орденом святого Владимира четвертой степени, но и настоятельно ходатайствовал перед царем о зачислении его для службы в Азиатский департамент министерства с сохранением содержания по военному ведомству сверх установленного по ведомству иностранных дел. Больной Чокан живет в Сырымбете, но недоброжелателей по военному ведомству в Омске беспокоит сохранение за пребывающим бог весть для чего в степях штаб-ротмистром двойного жалования. На эти запросы генерал Игнатьев отвечает резко и определенно: «Азиатский департамент имеет честь уведомить Комиссариатский департамент в ответ на отношение от 29 минувшего мая... что состоящий по кавалерии штаб-ротмистр султан Чокан Валиханов доныне значился причисленным к Азиатскому департаменту и находится от сего департамента в командировке в Области сибирских киргизов». И уж, чтобы не было двусмысленностей и кривотолков, Игнатьев добавляет: «Между прочим с целью, чтобы дать ему возможность заниматься лечением на родине, поправить расстроенное от служебных трудов здоровье». В июле 1863 года Н. П. Игнатьев обращается к А. Д. Дюгамелю направить штаб-ротмистра султана Валиханова в Петербург и опять же заботливо добавляет: «Вместе с тем не оставить уведомить меня, в случае, если болезненное состояние Валиханова не позволит ему еще возвратиться в С-Петербург». Одновременно Игнатьев ведет с Чоканом переписку.

Можно представить какой отрадой для Чокана являлись письма петербургских друзей Ф. М. Достоевского, А. М. Майкова, А. Н. Бекетова, Н. С. Курочкина, Н. П. Игнатьева, Д. И. Романовского (крупного деятеля военного ведомства и ученого), Х. Фаизханова и многих других выдающихся личностей того времени. К сожалению, сохранилась лишь мизерная часть большого эпистолярного наследия Чокана Валиханова. Он пи-

шет часто, поскольку теперь это, хоть и несовершенный, но единственный способ общения с друзьями. Для него большое благо, что он за короткий период (год с четвертью) пребывания в Петербурге успел приобрести столько верных и преданных друзей. Сами имена этих друзей свидетельствуют о том, что Чокан понят, оценен и без скидки принят в круг людей, благородное значение деятельности которых, не говоря уже о Достоевском, стало известным современникам и в еще большей степени потомкам. В родном Омске, где он прожил до выезда в Петербург более двенадцати лет, почти никого из друзей не осталось. Сказался приезд нового генерал-губернатора А. О. Дюгамеля, который, в отличие от Гасфорта, не считал нужным для своей ташкентской деятельности иметь, хотя бы для видимости, какое-то гражданское прикрытие. Остался умный, благородный К. К. Гутковский, единственный человек в омских чиновничьих верхах, к которому Чокан питал полное душевное доверие и непрерывно обменивался письмами, обсуждая самые разнообразные проблемы личной и степной жизни, да и тот, не выдержав стеснений со стороны новых ташкентцев, вынужден был уехать в Россию.

Больной Чокан весь в порывах к полезной деятельности, к исполнению замыслов, лелеяемых ранее и возникающих теперь при проживании в степи и живом общении со своими земляками. К поэту А. Н. Майкову он обращается с просьбой: «Я хотел бы быть корреспондентом «Санкт-Петербургских ведомостей» о делах среднеазиатских и киргизских степей. Нельзя ли поговорить с редактором? Впрочем, Вы можете избрать другую газету, более близкую Вам. Нельзя ли также узнать у «Отечественных записок» можно ли у них будет напечатать киргизские сказки, сходные с русскими, и мои исследования о шаманстве у киргизов и киргизские песни (в средневековом смысле) о золотоордынских героях, бросающие новый взгляд на историю этой Орды и объясняющие причины падения Орды. Он пишет профессору А. Н. Бекетову: «Ради бога, Андрей Николаевич, похлопочите в Обществе (Географическом обществе — Б. Е.), чтобы выслали мне в степь барометр, психрометр и несколько термометров — та часть степи, в которой я живу, очень слабо исследована, а в климатическом отношении известно кое-что только о Верном. Занятия мои в степи идут успешно. Я собрал очень много сказок, этических сказаний, песен и занимаюсь теперь изучением киргизских законов, которые имеют связь с уложением Чингис-хана».

Он продолжает изучать родной фольклор, ибо восхищен не только поэзией устного творчества, но он является, по его неоднократным высказываниям, одним из главных подспорий для его научных суждений и прогнозов, для раскрытия многих загадок в историческом прошлом степей. А вот мысли по наблюдению за климатом и природными условиями степей, по исследованию степных законов возникли здесь, после приезда в Сырымбет. Обращает внимание диапазон научных интересов больного Чокана — от изучения природы до изучения общественных явлений. Замыслы эти претворяются крайне плохо — слишком коротки периоды облегчения недуга. Его остро волнуют степные дела. Он теперь имеет возможность подолгу размышлять о них. Царская администрация задумала провести реформы в казахском судопроизводстве. По-видимому, по настоянию К. К. Гутковского, к Чокану обращаются высказать свое суждение о готовящихся юридических уложениях для степей. Чокан, тщательно и всесторонне разобравшись в степных законах, начиная со времен Чингисхана, пишет изумительную по глубине суждений «Записку о судебной реформе», в которой он страстно защищает целесообразность оставления в степях традиционного суда биев. Нельзя полагать, чтобы Чокан не чувствовал архаизм и отсутствие будущего в таком отсталом способе установления истины и справедливости, как суд биев, однако он более всего боится, что над темными степными жителями будут глумиться, издеваться, обирать их крючкотворы-чиновники. Слишком велика у него ненависть к царскому чиновничеству, к его страшной, плотоядной психологии, навеянная «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина, многими другими произведениями русской литературы, да и самой жизнью. «Записка о судебной реформе» была настолько блистательная по форме изложения и по логике доказательств, что царская администрация оказалась вынуждена оставить в силе суд биев (степных судей) в степях. Продолжая размышлять о степных делах, он видит какой вред приносит ислам, в особенности в том виде, в каком он царским правительством распространяется и утверждается в казахском народе. «Мусульманство пока не въелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением народа в будущем», — пишет он, боясь последнего и уповая на первое.

Чем-то неотвратимо трагическим веет от этих последних лет жизни Чокана. Это не только годы болезни и физического истощения, но и годы крушения веры и надежд, на осуществление некоторых его идеалов в рамках существующего строя. Он слишком верил в роль доброго начальства в жизни народа. И в связи с этим выдвинул свою кандидатуру на должность ага-султана округа. Сам Чокан, пожалуй, лучше расскажет о том, что получилось с этой затеей. «Я думал как-то сделаться султаном, — пишет он Ф. М. Достоевскому, — чтобы посвятить себя на пользу соотечественников, защищать от чиновников и деспотизма богатых киргизов. При этом я думал более всего о том, чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель. Они увидели бы, что человек истинно-образованный — не то, что русский чиновник, по действиям которого они составили свое мнение о русском воспитании. С этой целью я согласился быть выбранным в старшие султаны Атбасарского округа, но выбор не обошелся без разных чиновничьих штук. Господа эти, как областные, так и приказные, поголовно восстали против этого. Ты понимаешь, почему. Областные лишились бы нескольких тысяч, которые они стягивали со старшего султана, а приказным, действительно, если бы я был султаном, пришлось бы идти по миру. Видишь, что тут для чиновников своего рода «быть или не быть». Надо заметить, впрочем, что на моей стороне из всех властей русских был один только г. Гутковский, который в это время исправлял должность губернатора и производил выборы. Чиновничество начинает подстрекать самолюбие богатых и честолюбивых ордынцев и пугать их, что если Валиханов будет султаном, то всем будет худо, он, мол, держится понятий о равенстве и отличать вас по роду, богатству, как свой брат, натуральный киргиз не будет; пустили в ход и то, что я не верю в бога и с Магометом состою в личной вражде. Понятно, что подобные вещи действуют на народ полудикий и преданный своим обычаям, не могли остаться без последствий, особенно когда исходили от русских майоров (так киргизы называют всех русских чиновников). Мои земляки, как ты сам знаешь, всегда держатся русских указаний, может быть, вследствие восточной вежливости.

Таким образом, составляются две партии: одна, состоящая из четырех волостей баганалинцев, поколение дикого и кочующего около кокандских границ. Эта дикая толпа не хочет иметь султаном человека, который имеет голову, не гладко

выбритуую, и при том не совершающего омовения пять раз в день; при этом баганалинцы выражают опасение, что если меня сделают султаном, то я всех киргизов отдам в солдаты, а детей их в школы. Так им внушено.

Другая партия, преданная мне, состоит из трех волостей староподданических и из всех султанов этого округа. Начинаются выборы, перед тем ночью противная партия посещает секретаря губернаторского, баварского немца, который оставил родной Мюнхен... чтобы обирать киргизов... На выборах я торжествую. Меня выбирают большинством голосов. У меня 25, а у моего противника баганалинца 14. ...Дело, конечно, решенное; я имею все законные основания и притом, как человек образованный, должен быть бы предпочтен дикому ордынцу...

...Губернатор говорит, что «надейтесь, господин Валиханов», я же думаю: еще бы не надеяться, когда Закон на моей стороне. Но противник мой не унывает, он по опыту знает, что деньгами можно сделать все, в прошедшую зиму он возил в Омск три тысячи рублей и освободил двух арестантов. В этом ему помогал секретарь, а секретарь говорит ему и теперь: собирай деньги и посылай людей в Омск, будешь ханом. Деньги идут в Омск. Я хотя много читал обличительных статей, но на этот раз думал — постыдятся подлецы, ведь я не просто кто-нибудь. Гордость обуяла. Вдруг получаю известие от Гутковского, что поездка баганалинцев осталась не без успеха и что генерал-губернатор не хочет тебя ни за что утверждать. Оно и правда, что законы у нас на Руси пока еще пишутся не для генералов, известно мне также, что генералы больше любят натуральных киргиз, что в них, знаете, больше, этой восточной подобострастности. «Гирей сидел, потупя взор, в устах его»... и проч. Но при всем том, признаться, я такого пассажа вовсе не ожидал. Каково, мой друг? Ты представь себе положение наше (я говорю о киргизах воспитавшихся в России). Земляки считают нас отступниками и неверными, потому что, согласись сам, трудно без убеждения из-за одной только политики пять раз в день хвалить бога, а генералы не любят потому, что мало этой восточной подобострастности. Черт знает, что такое, хоть в пустыню удаляйся».

Враждебно настроенное омское начальство и местные бай-заправилы находили много других поводов, чтобы устроить больному Чокану несносную жизнь в степях. Всячески притеснялся по службе отец Чокана. То нарочито распространяли слух, что Чокан ни в какой Кашгар не ездил и что царь, узнав

про обман, сердит на него, то подкупали и сочиняли жалобу от имени «мужа», у которого якобы отобрал Чокан «жену». тогда как на самом деле этот «муж» вовсе не был мужем, а братом умершего мужа и хотел насильно жениться на вдове покойного. Чокан, естественно, не мог не заступиться за обижаемую женщину.

Чиновничество и степные властимушье имели все основания поступать таким образом, ибо уже само присутствие Чокана Валиханова в степях заставляло их лишний раз оглядываться при обирании темного народа. Чокан же все более чувствовал свое бессилие: «Черт знает, что такое, хоть в пустыню удаляйся». И может быть, в этом смысле окажется близкий к истине, если будем полагать, что больной, разочарованный, нравственно и телесно разбитый Чокан увидел в отряде Черняева ту пустыню, в которую надо было ему удалиться, чтобы не видеть степные безобразия. Чтобы представить вероятность такого предположения, стоит вспомнить трагически грустный вздох лежащего под шубами Чокана: «Разлагаюсь!» и жалобы его на омское чиновничество, когда навестил его Потанин. Это ведь было совсем незадолго до выезда Чокана в Аулие-Ату. Но мы знаем также, что могучий дух гения и при этом питал надежды воспрянуть для полезной деятельности ради соотечественников.

Чокан любил свой народ. Эта любовь приносила ему радость и отраду. Он был образованнейшим человеком своего времени, полным благородных устремлений. Его блестящий ум одинаково признавали и друзья, и недруги. Он был живым примером того, какие могучие интеллектуальные силы дремлют в сплошь неграмотном, темном степном народе. Он умел совершенно точно оценивать реальность и факты даже в тех случаях, когда речь шла о его собственной личности, и был абсолютно далек от преувеличения своих личных достоинств; но, как выдающийся рационалист, он не мог не понимать, что своей стремительной деятельностью и феноменальными своими постижениями он оказывает огромное влияние на честных и просвещенных представителей русского народа в переоценке своих расовых предрассудков. Последнее отмечали многие современники Чокана. Он был первым казаком, который не сюсюкал подобострастно о преданности великому белому царю и не гнул уничижительно свой хребет при упоминании о «благодетелях» генерал-губернатора; он был первым казаком, который во всеоружии научных достижений своего времени, с достоинством рассказал русскому обществу о своих

степях, о том, что добровольная близость казахов к России, к русскому народу есть исторически оправданная потребность истинного прогресса, что казахский народ жаждет ускорения цивилизующей роли русских на основе дальнейшего укрепления дружбы и братства между двумя народами. Это и было то святое дело, на которое указывал Чокану Федор Михайлович Достоевский на заре их дружбы и которое стало жизненной целью его друга-казаха. Чокан, как мы уже сказали, вряд ли преувеличивал свои достоинства и свои достижения, но он, думается, не мог не радоваться, не мог не испытывать отраду от того, как тепло были приняты и высоко оценены его научные труды, как много стало у него искренних, преданных и до конца понимающих его самого и его народ друзей из среды умственной и нравственной элиты русского общества; не мог не радоваться и не испытывать отраду от того, что он бросил плодоносящие семена своей любви в родной народ и своей веры в его будущее в души лучших и ведущих русских людей.

Чокан любил свой народ. Он был этой любовью прикован к своему народу, как Прометей к своей скале. И в этом заключалась его жизненная трагедия — Чокана, народ его мало знал и еще менее понимал. Для знати белой и черной кости он был хитрым, ловким и преуспевающим царским офицером, добившимся невиданной для степного жителя чести — личной аудиенции у самого белого царя, имеющий личную дружбу с самыми большими царскими жандаралами (генералами), был человеком, перед которым надо заискивать, которого надо опасаться, тая до поры до времени черную зависть за его успехи и черную ненависть за его непонятную для них неподкупность и благородство. Мы знаем по цитированному отрывку из письма к Достоевскому, как накинuloсь это трусливое воронье, когда почувствовало, что Чокан болен и слаб и терзать его легко. С беднотой он был в дружбе, но могла ли иметь частные случаи дружеского общения с людьми при отарах и косяках какое-то общественное значение, когда для этих людей Чокан оставался добрым, немного чудоковатым мырзой (баринoм), которого можно любить и уважать, но который, даже несмотря на его простоту, все же был не свой. Научные достижения Чокана, высокие думы, мрачившие славное чело, все то, чем он горел в мечтаниях о настоящем и будущем своего народа, народ этот не ведал и не чувствовал. Родное племя, к которому был прикован своей любовью великий его сын, было также безучастно и равнодушно, как безучастна, холодна и равнодушна была скала к мучениям Прометея. Коршун сом-

нений, бессилия и торжествующего зла безнаказанно ~~клевало~~ истекавшее кровью сердце страдальца за народное счастье. Это была страшная жизненная трагедия Чокана, прикрыть которую не всегда удавалось даже выдающейся воле и неистощимому юмору этого великого человека. Эта трагедия больше всего обозначалась в последние четыре года его жизни.

«По политическим убеждениям он принадлежал к крайним либералам», — пишет Г. Н. Потанин о Чокане. «Он искренне любил Россию, видел ее недостатки и вместе с лучшими людьми ее желал горячего ее обновления», — добавлял он в другом месте. Ныне философские, социальные, экономические взгляды Чокана Валиханова хорошо исследованы чокановедами. Как мыслитель, он приближался к идеям Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, высказываясь точно и определенно о несовместимости интересов богатых и бедных. И, тем не менее, будучи сыном отсталого народа, чаяния которого занимали его в первую очередь, он, естественно, не мог подняться до уровня, чтобы связать истинное приобщение своего народа к цивилизации и расцвет дружбы его с русским народом, с коренным переустройством общественной жизни. Он слишком уповал на улучшение, гуманизацию царской администрации через разумно подобранных, образованных и добрых чиновников. Он настоятельно пропагандировал распространение просвещения в своем народе и страстно боролся против влияния мусульманского фанатизма, поддерживаемого царским правительством в степях, считая его первым врагом приобщения народа к истинным знаниям. Он не заблуждался, как мы знаем, относительно значения деятельности отдельных царствующих особ и царского чиновничества и, тем не менее, в особенности в последние годы жизни, больной Чокан отдал много сил, чтобы способствовать улучшению административного управления степей. На этом пути он испытал страшное разочарование и крушение своих надежд. Понимал ли больной Чокан, имея теперь в степях время для раздумий, что в его мечтаниях слишком много несбыточных иллюзий? Может быть, и понимал. Но он видел в этих иллюзиях единственную возможность помочь своему народу. Но главным и отрадным в его мечтаниях было то, что он убедился в необратимости процесса сближения и дельнейшего укрепления единства своего народа с русским народом как исторической необходимости. Путешествуя по Западному Китаю, пребывая в Кульдже и Кашгаре, он с отвращением видел, как китайская

администрация и военщина, натравливая одних фанатичных мусульман на других, в нужный момент сама принимая участие на той или иной стороне, устроила в родственной Западной окраине Китая, по существу, постоянную человеческую бойню, не ставя ни во что человеческую жизнь. В исторических трудах Чокан с омерзением и болью рассказывал о том, как китайцы с истинно китайской жестокостью истребили миллионный джунгарский народ. Ни о каком распространении цивилизации и гуманного образа жизни среди родственных нам народов Западного Китая не могло быть и речи. На этом фоне представлялось громадным счастьем для казахов и других сопредельных им народов добровольное сближение с русскими. Русское покровительство для этих народов было прогрессивным историческим актом, осуществлявшимся исключительно мирным путем. Народы постепенно сами сознавали необходимость этого покровительства. И именно поэтому Чокан не мог смотреть без боли и отвращения, когда видел элементы насилия со стороны некоторых ретивых деятелей-генералов, мнивших себя завоевателями и спешивших представить царю «реляции» о «победах» над строптивыми «инородцами». И в этом отношении «победоносные» действия полковника, а затем генерала Черняева в Аулие-Ате были той последней болью, которая прибавилась к тяжелому недугу Чокана, стремительно приближая его смерть.

Вот так «храбро» завоевывал Аулие-Ату полковник Черняев по его же рапорту от 6 июня 1864 года. 2 июня его отряд подступил к Аулие-Ате. Чокан Валиханов был послан парламентаром с условием сдаться, он вернулся 3 июня с ответом от коменданта крепости дать четырнадцать дней на размышления. Черняев на это повелел Чокану Валиханову ответить беку, что его условия остаются неизменными и на другой день 4 июня открыл огонь по крепости. Через два часа отряд Черняева был в крепости. Потери Черняева — три легко раненых солдата, контужены один офицер и один солдат. Черняев продолжает с гордостью, самодовольством докладывать: «Потери неприятеля в настоящее время еще не известны. Вчерашнего числа погребено жителями, по моему распоряжению, 307 человек». Убитые почти все принадлежали к гарнизону, — лживо добавляет полковник, как будто карточка из его орудий избирательно попадала лишь на гарнизонных. Раненых оказалось 390 человек. Да, удивительной была эта битва, где «победил» отряд Черняева: со стороны «побежденного» убитых и раненых 700 человек, со стороны «победите-

ля» — по существу ни одного! «Победой» в данном случае было названо преднамеренное расстреляние беззащитных людей. Валиханов и многие другие офицеры стояли за продолжение переговоров, будучи уверены, что под натиском населения, охотно шедшего на сближение с русскими, кокандский бек вскоре сдаст крепость. Существенной помощи ему ждать было неоткуда, да и отряд вполне контролировал все подступы к городу. Черняев же повел переговоры для формы, он спешил; ему для победных реляций необходимо было возможно скорее расстрелять беззащитный город. Г. Н. Потанин писал впоследствии: «Подступив в Пишпек (т. е. Аулие-Ате, Потанин здесь ошибся — Б. Е.) ...Черняев собирался взять его силой, пообещал солдатам позволить им грабить город в течение одного дня. Чокан, воспитанный гуманной литературой 60-х годов, вращавшийся в кругу Петербургских литераторов, поэтов и популярных ученых, водивший знакомство с Достоевским, ботаником Бекетовым и пр., узнав об этом решении генерала, бросился к нему, чтобы уговорить его отказаться от своего намерения. Генерал не согласился, произошел крупный разговор; Чокан разочаровался в Черняеве, оставил отряд и вернулся в Верный». Здесь стоит добавить, что Чокан ушел из отряда не один, а с группой недовольных офицеров, которые были потом наказаны.

Чокан из отряда Черняева приезжает, как мы уже писали, в аул Тезека, приезжает разбитый морально и физически. Выезжая в отряд Черняева, он в письме к К. К. Гутковскому шутил, как обычно: «Еду я, признаться, для того, чтобы получить чин, Черняев, кажется, человек хороший и чина, может, не пожалеет». По-видимому, сразу же после прибытия в отряд, еще до размолвки, Чокан был представлен к следующему чину ротмистра со старшинством с просьбой утвердить в этом чине со 2 июня 1864 года (за два дня до печально-знаменитой «битвы» за Аулие-Ату). Царская канцелярия скрипела медленно, как и прежде: представление прошло через руки военного министра Милютина 10 марта 1864 года. 14 марта того же года была «высочайшая» резолюция: «согласен», 16 марта бумага с этой резолюцией была зарегистрирована в недрах военного министерства. Когда она дошла и дошла ли до Верного, неизвестно. Чокан Валиханов умер в апреле 1865 года. А надпись на плите памятника, поставленного в 1881 году генерал-лейтенантом Колпаковским по желанию генерал-губернатора Кауфмана Первого, гласила: «Здесь покоится прах штаб-ротмистра Чокана Чингизовича Валиханова, скончавшегося в 1865 году». Почтенные генералы не знали, что султан Валиханов умер в чине ротмистра со старшинством.

Чокан живет в ауле Тезека, продолжает болеть и тем не менее, верный своей иллюзии относительно роли разумного и гуманного управителя, ревностно желает помочь военному губернатору Семиреченской области Г. А. Колпаковскому в управлении подвластными ему киргизами и казахами Большой Орды. Сохранилось несколько писем Чокана к генералу Колпаковскому. В этих письмах Чокан, как знаток, истолковывает смысл событий, происходивших в то время в Кульдже; в то же время письма эти полны забот и беспокойства о судьбе своих сородичей, живущих в Семиречье и Киргизии. Здесь, в ауле Тезека, в жизни Чокана произошло знаменательное событие — за несколько месяцев до смерти он женился на сестре Тезека Айсары. Судя по биографическим данным, женщины особого места в жизни Чокана, по-видимому, не занимали. Чокан умел рассудку страсти подчинять. «Любил ли Чокан, не знаю. — пишет Г. Н. Потанин. — В Омске у него были увлечения, но они далеко не заходили, а оканчивалось дело тем только, что он более обыкновенного декламировал стихи Полонского и Майкова». Ни в дневниках, ни в письмах Чокана, если исключить его временную женитьбу в Кашгаре по установленному там обычаю для гостей, нет указаний, чтобы сильно занимала его та или иная представительница прекрасного пола. Только в одном из писем к Достоевскому можно прочесть: «В последний вечер я занят был любовью по вашему совету, с С. Расспросите ее, кажется, мы провели вечер приятно». Был другой случай, когда в ауле, после приезда из Петербурга, Чокан увлекся молчаливой, тихой, но внешне прекрасной служанкой. Возник конфликт. Родители восстали. Однако близость с этой женщиной была недолгой; Чокан быстро охладел. Может быть, причиной этому было полное отсутствие духовной общности. Теперь он женился на Айсары, такой же дочери юрт, как и та. А. К. Гейно, посетивший аул Тезека, через несколько месяцев после смерти Чокана, пишет: «...Мы пошли в юрту сестры Тезека, вдовы Чокана Валиханова. Мы выразили ей от души, что чрезвычайно сожалеем о преждевременной смерти ее мужа, который мог бы быть очень нам полезен и своими сведениями и своим умом. Вдова была, видимо, подавлена своим горем, но не ломалась и не хныкала. У нее очень доброе лицо». Говорят, что Айсары не отличалась красотой, но была наделена природным умом. Можно полагать, что больной, разбитый Чокан тосковал по женской ласке, по заботливому вниманию близкого и любящего человека. Он знал, наверное, что не сможет доставить влюбленной девушке

полного счастья, и все не женился. И, может быть, не-
но. Может быть, нежные ласки, жертвенно безрасче-
преданность, заботливый уход молодой женщины, этого наив-
ного дитя природы, были последней наградой за физические
и духовные страдания, которые перенес этот гениальный сын
народа. Айсары в последствии переехала к родным Чокана
(так он завещал) и вышла замуж по тогдашним обычаям за
родного брата покойного Жакупа. От этого брака родилась
дочь Рабига. Престарелая Рабига рассказывала: «Когда отец
обижал чем-то мою мать, оставшись одна, она горько плакала...
Иногда, поссорившись с отцом, она говорила ему: — Почему
ты все время обижаешь меня? А ведь твой брат Чокан очень
уважал меня и никогда не обижал. Когда я входила домой, Чо-
кан всегда соскакивал с места. Я ему говорила: «Ведь вы об-
разованный и авторитетный человек, и я смущаюсь, когда вы
встаете с места при моем появлении». — Я делаю это из-за
нежной любви к тебе. В чистом сердце, в чистой душе не
должно быть места старшинству, не стесняйся зря, душенька.
— вспоминала о Чокане мать».

Чокан умирал в ауле Тезека. «Устал, уходят силы, весь вы-
сох, остались одни кости. Скоро свет укроется от меня. Мне
больше не суждено повидаться с моими родными и друзья-
ми, нет для этого никаких средств. Это будет мое последнее
письмо. Прощайте, обнимаю всех». — Писал он отцу. А чинов-
ники царского правительства смотрели на умирающего гения
по-своему, по-чиновничьи, охранительно. Сохранилось доне-
сение Туркестанского генерал-губернатора военному минист-
ру от 11 февраля 1865 года. Оно, это донесение, достойно
того, чтобы воспроизвести его полностью. «Со времени прибы-
тия во вверенный управлению моему край я неоднократно по-
лучал неодобрительные от местных властей отзывы о штаб-
ротмистре Валиханове, распространившем между киргизами
Семиреченской области вредные для спокойствия края слухи.
Летом истекшего года замечено было волнение умов кочево-
го населения в южной части Семиречья и в то же время полу-
чены более достоверные слухи о тех толках, которые позво-
ляет себе штаб-ротмистр Валиханов, даже в разговоре с мест-
ными властями. Были так же и прямые доносы на Валиханова
и на тестя его, полковника Тезека, в распространении ими меж-
ду киргизами возмутительных слухов и сношений их с владель-
цем Кашгара Якуббеком. Вследствие этого, предписав аресто-
вать их обоих, я поручил произвести над ними формальное
следствие. Ныне я получил донесение генерала Колпаковско-

го, который, излагая ход следственного дела, выражает сомнение, чтобы оно разъяснило виновность этих личностей вследствие невозможности добыть сколько-нибудь положительных улик, вместе с тем, признавая невозможным оставить штаб-ротмистра Валиханова на жительство в Семиреченской области, он просит распоряжения о высылке последнего на родину, в Область сибирских киргизов. Вполне разделяя мнение военного губернатора Семиреченской области относительно необходимости удалить Валиханова из Семиречья, я сделал распоряжение о высылке его на родину». На этом донесении есть резолюция военного министра Милютина: «Написать генерал-майору Хрущеву, чтобы принять меры для наблюдения за штаб-ротмистром Валихановым, и если он полагает, что пребывание его в Сибирской степи столь же неудобно, как и в Семипалатинской области, то переместить бы его на жительство куда-нибудь подальше от степи киргизской». Он же, военный министр, 8 апреля (Чокан, может быть, уже умер) 1865 года на соответствующий рапорт начальника генерального штаба наложил резолюцию: «Перевести в один из кавалерийских полков по выбору самого штаб-ротмистра Валиханова. Генерал-лейтенант Хрущев мог бы ныне же прислать его сюда курьером. Генерал-адъютант Милютин». В рапорте имелся в виду один кавалерийский полк, размещенный во внутренних губерниях России. Может быть, Чокан вовремя умер, иначе быть бы ему пассажиром в той курьерской тройке, о которой писал Н. А. Некрасов:

Гремит, звенит — и улетает
Куда Макар телят гоняет.

Только для Чокана, по велению начальства, бедный Макар телят своих должен был погнать не в Сибирь, как обычно, а в обратную сторону. Трудно представить, что было бы с Чоканом, если бы он попал в полк, где служил, скажем, старший Карамазов. Это было бы погребением заживо, ибо те, кто готовили Чокану это иезуитское наказание, знали, что значит оторвать Антея от родной почвы — любимых степей, омских и петербургских друзей, архивов и библиотек. И, может быть, его смерть была в этих условиях меньшим злом. Хотя мы знаем, что даже упокоившийся, мертвый Пушкин мог быть сослан в сопровождении жандармов в Псковскую губернию. Царь и его чиновничество владели особо изощренными методами по части издевательств над гениями русских и дру-

гих народов обширной империи. Обращает внимание здесь двуличие Колпаковского. Этот генерал, как мы уже знаем, переписывался с Чоканом Валихановым и пользовался его услугами. Отношения их, по-видимому, были достаточно короткими, ибо в одном из писем Чокан просит Колпаковского: «Ваше превосходительство оказали бы большую милость, если бы привезли мне несколько ящиков сигар гаванских от Терехова один так называемый пробный ящик». Последнее из сохранившихся писем, адресованных генералу, датировано 30 января 1865 года. В это же время (или даже ранее) этот генерал, не имея никаких улик против Чокана (он, конечно, знал, что таких улик и не должно быть), все же решил застраховаться и упросил выслать его из Семиречья. Можно было, конечно, пользоваться услугами знающего человека, но если этот человек не своего поля ягода, если он слишком честен, слишком благороден, его услуги для истинного карьериста с ташкентским уклоном в образе мышления и действия могут обернуться бог знает чем: ...лучше уж держаться от такого человека подальше. Да и сами слухи о крамоле, если они даже совершенно беспочвенны, карьеристу ни к чему. И тем не менее тот же Колпаковский, зная насколько популярны люди, близко знавшие Чокана и продолжающие сочувствовать его памяти, активно участвует в сооружении надгробного памятника, издания его трудов. Поистине не исповедима душа истинного карьериста.

Русские друзья Чокана остались верными ему до конца жизни. В 1867 году умер один из преданных друзей Чокана К. К. Гутковский. В том же году на заседании Совета Русского географического общества председательствующий П. П. Семенов-Тяньшанский сделал заявление о том, что покойный генерал-майор К. К. Гутковский обращался к нему с просьбой о содействии к изданию рукописей, оставшихся после смерти действительного члена общества Ч. Ч. Валиханова. Совет принял постановление издать труды Валиханова отдельной книгой в «Записках общества». Причем великий географ взял на себя редакцию издания. Однако дело затянулось. И, по-видимому, не от ослабления желания друзей издать книгу покойного ученого. Труды Чокана надо было собрать из разных источников, привести в порядок, свести в одно разочтения и т. д. и т. п. Словом, само компанование сборника оказалось делом нелегким. Кроме того, надо было изыскать средства на издание. Ко всему надо прибавить и то, что делом издания занимались очень крупные ученые, обремененные своими

научными проблемами и многочисленными обязанностями. В 1889 году газета «Восточное обозрение» сообщила, что в Петербурге «...готовится к изданию собрание статей Чокана Валиханова, ...сборник его редактируется профессором Веселовским». Судя по сохранившимся письмам, Г. Н. Потанин и Н. И. Веселовский настойчиво продолжали проводить в жизнь дело об издании трудов покойного Чокана. При этом их стараниями втягиваются в это дело генерал Г. А. Колпаковский, который обещал материальную поддержку, но не исполнил обещания, непримиримый секретарь Академии наук К. С. Веселовский, продолжает свое содействие П. П. Семенов-Тянь-шанский, Ф. М. Достоевский, Н. М. Ядринцев и многие другие. Н. И. Веселовский, в то время проректор Петербургского университета, проделал очень тяжелую, очень трудоемкую и кропотливую работу по приведению в порядок и редактированию трудов Чокана Валиханова. Последнее усложнялось еще и размашистым, неразборчивым почерком ученого. Об этих трудностях почти отчаявшийся Н. И. Веселовский говорит в одном из писем. Но все же главным препятствием оставались средства на издание. Г. Н. Потанин пишет в 1892 году ориенталисту Г. Е. Катаневу: «Остановка за деньгами, нужно пятьсот рублей... Я думаю так: открыли бы Вы подписку при отделе на сбор денег». А в письме Г. Н. Потанина от 31 декабря 1893 года Н. И. Веселовскому читаем: «Очень обрадовали вы меня своим письмом, потому что я понял его так будто вы имеете уже деньги на издание Чокана Валиханова. Откуда добыли и достаточно ли? Проложите ли портрет? В сохранившихся фрагментах переписи благородных русских людей, затеявших на свой страх и риск издание трудов ученого казаха, какой хлопотливой была затея и как нужно было быть преданным дружбе и науке, чтобы в течение трех с половиной десятилетий с лишним не оставить это дело, не остыть к нему, довести его до конца. Наконец, первый ученый-казах был издан в 1904 году отдельной увесистой книгой, на титульном листе которой крупным титром было написано: «Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова». Ниже значилось: «Изданы под редакцией д. ч. Н. И. Веселовского». В истории казахского народа Чокан был первым сыном, ставшим автором печатной книги. С этой точки зрения книгу Чокана следует считать выдающимся знаменательным явлением в жизни нашего народа и год издания ее должен был быть отнесен в список особо почитаемых дат. Дружья Чокана, впервые издавшие его труды, впервые выпустившие печатное слово казаха, совершили благородный, про-

диктованный сердцем и душой подвиг, который никогда не может быть забыт казахским народом.

* * *

Ханы, султаны и другие властители, обуреваемые страстью к безраздельному господству, находясь в плену зависти и раздоров, постоянно сопровождавшихся кровопролитиями и народными несчастьями, редко когда выражали своими действиями надежды, желания и чаяния народа. Когда в 1831 году трусливый и двуличный хан Младшей Орды Абулхаир под натиском народа подписал акт о вхождении подвластных ему кочевий в состав русского государства, он считал, как показали дальнейшие события, это было лишь временной уловкой для сохранения власти. Точно так же думал подписавший подобный акт позднее более смелый, более ловкий, но не менее двуличный хан Аблай. Но народ, вкусивший благодетельный плод дружбы с великим соседом, решал по-своему. Народу оставалось родить такого сына, который словом и действиями высокообразованного человека показал и доказал всему миру, что будущее его родного племени не может продолжать быть предметом меновой торговли между властителями ради удовлетворения их непомерно алчного честолюбия, что оно, это будущее, должно определяться самим народом в его стремлении к добру и справедливости. Таким сыном народа явился Чокан Валиханов. Главной его исторической заслугой является то, что он всей своей жизнью и деятельностью продемонстрировал ту истину, что близость и дружба с великим русским народом есть единственный путь к приобщению казахского народа к цивилизации, раскрытию его выдающихся интеллектуальных возможностей для духовного и материального созидания на уровне самой высокой культуры и сохранению национальной самобытности. Перед этой исторической заслугой меркнут, приобретая признаки бессмыслицы, все наши запоздалые упреки, начинающиеся с «однако» и сводящиеся к тому, что Чокан как мыслитель не мог подняться до идей самых передовых людей своего времени. Народ не ставил перед своим гениальным сыном такой задачи, да и не мог ставить, а ту задачу, которая была поставлена перед ним — обосновать с высоты современных ему знаний и научно-исторических данных необратимость хода истории, когда он соответствует желаниям народа, он решил блестяще, пос-

вятив идеи единения родного народа с великороссами не только свои научные и публицистические труды, но и в качестве примера самую личную жизнь свою. Он был первым, кто логически осознал и научно доказал эту научную необходимость и справедливость. Другие гении народа, такие как, Абай Кунанбаев и Ибрай Алтынсарин, подхватили и продолжали великое дело сближения двух народов, начатое Чоканом Валихановым.

Чокан мечтал быть понятым своим народом. Но он при своей жизни ушел настолько далеко вперед, что для современных ему соплеменников были непостижимы его высокие помыслы и благородные надежды. И теперь, когда перед стройным юношей-офицером, стоящим в глубокой задумчивости на высоком мраморном пьедестале перед величественным зданием Академии наук Казахской ССР, проходят почтительно склонив головы, его потомки, живущие в царстве великой мечты этого юноши, в царстве интеллекта и разума, в ленинской семье народов, то это является лишь внешним выражением той немеркнувшей, от сердца идущей глубокой благодарности поколений своему гениальному предтече за его пророческий подвиг и пророческую жизнь.

СЛОВО ОБ АКАДЕМИКЕ САТПАЕВЕ

•

Где,
 когда,
 какой великий выбирал,
Путь чтобы протоптанней
 и легче?

В. Маяковский

Писать о жизни людей, деяния которых стали достоянием народа, всегда трудно, а иногда и опасно, ибо, имея исключительно добрые побуждения, можно написать что ни на есть неправду. Именно это имел в виду Хемингуэй, когда писал в своем «Африканском дневнике»: «В последнее время я с отвращением прочитал разные книги, написанные обо мне людьми, которым известно все о моей внутренней жизни, целях и побуждениях. Читать их все равно, что читать о бое, участником которого ты был, в описании человека, который не только при этом не присутствовал, но в ряде случаев которого и на свете не было, когда происходил бой. Все эти люди, которые описывали мою жизнь, — как внутреннюю, так и внешнюю, — писали с уверенностью, какой сам я никогда не испытывал». Легкое, может быть, недостаточно ответственное отношение к памяти выдающихся личностей часто, как мы знаем, порождает писания со стороны авторов, почему-то уверовавших в том, что в их собственное примитивное мышление можно уложить мысли и чувства большого человека. И тем не менее писать о жизни людей, оставивших добрый след в памяти народной, необходимо, ибо писать это значит изучать; изучать для того, чтобы в сегодняшнем и будущих поколениях с благодарностью использовать их щедрый дар в духовную сокровищницу общества; изучать потому, что в биографиях замечательных людей, как в фокусе, сосредоточен опыт их времени, без понимания и осознания которого человечество не могло бы преуспеть в целесообразном и справедливом устроении жизни.

Для нас особо необходимо, по-видимому, изучать жизнь тех немногочисленных подвижников духовного, научного созидания, чьи разум, способности, воля и инициатива пробудили в массе вчерашних кочевников необратимую и неукротимую тягу к творческой деятельности в укор тем, кто не верил в наше национальное будущее. В личных судьбах этих людей, как в зеркале, отражается удивительная судьба нашего народа, испытавшего на себе за какое-то историческое мгновение

сказочный взлет, который позволил нам враз войти в русло передовой науки, счастливо включившись в этот авангард мировой культуры и мирового прогресса, которым ныне является наша большая Родина.

История нашей национальной науки начинается с этой горсточки людей, которые шли рука об руку с выдающимся академиком-геологом и знаменитым писателем-ученым. Иногда думается, что эти два зачинателя совершенно неведомой для нас новой отрасли деятельности могли бы жить и творить поныне, если бы не сгорели до времени от нечеловечески самозабвенного напряжения сил. Кто был до них? Назвать некого. Разве Чокан Валиханов, этот случайный метеор на нашем небосклоне, предназначенном для звезд познания, но так и оставшемся темным и незаселенным до самой Великой Октябрьской революции. Какая это была трагедия для многих и многих поколений, что наша наука начиналась не с Ломоносова и даже не с Менделеева. От Ломоносова и Менделеева нас искусственно отталкивали и отчуждали.

И вот резкий скачок... Он не мог не сказаться на всех нас, на нашей психологии, на наших взглядах на окружающее, на нашем быте и на многом другом. Ибо это была ломка с переоценкой многого устоявшегося; ломка, не обходившаяся без борьбы и потерь. Стоит себе представить молодого человека, вкусившего благодаря условиям, созданным Октябрем, от древа познания и всей душой стремящегося продолжать начатое, и то окружение с которым он связан плотью и кровью, но которое не имеет ни малейшего представления об особенностях умственной творческой работы и ценностях, приобретаемых этого рода деятельностью. А ведь это лишь одна из многочисленных сторон ломки, принесшей столько нового и благодатного в нашу жизнь, что мы лишь сейчас можем судить о том, что значили эти препятствия в смысле условий для наиболее полного проявления интеллектуальных возможностей творчески одаренного человека. Если еще учесть и то, что ко всему этому прибавлять трудности создания совершенно нового на пустом месте, то можно понять, как во всем этом должны были проявиться веками выработанные особенности нашего национального характера и прорваться наружу, та жажда познания, которая копилась в душе народа и выражалась только в мечтах, с удивительной эмоциональностью отражаясь в нашем фольклоре.

Вот какие мысли приходят на ум, когда думаешь о жизни и деятельности Каныша Имантаевича Сатпаева, ибо первый

наш академик и первый президент Казахской Академии наук своей неутомимой и многогранной деятельностью как никто более выразил время начинания, бурного становления и стремительного развития науки в бывших степях.

«Родился я в глухой степи, в семье кочевника-казаха». Вот одна-единственная фраза, которая сохранилась в рукописных фондах академика о том периоде его жизни, который называется детством. Академик был слишком немногословен, когда он в тех или иных случаях был вынужден писать или говорить о себе. Между тем, для познания всегда интересны и важны истоки. Гёте говорил, если хотите узнать поэта, побывайте у него на родине. Думается, что это относится не только к поэтам, но и ко всем лицам, заслужившим всенародную славу своей полезной и плодотворной деятельностью.

Родился Каныш Имантаевич в ауле Сатпая из рода Жодигер племени Каржас, ибо в то время в степях личность и место рождения определяли по родовому признаку. Позднее, с установлением Советской власти этот аул получил наименование № 4 и относился в Аккелинской волости Павлодарского уезда Семипалатинской области. Ныне это совхоз имени Сатпаева Баян-аульского района Павлодарской области. Зима в этих местах бывает суровой, и ранней весной, когда родился Каныш Имантаевич, аул находился в кыстау-зимовке. Этим мы обязаны тому, что ныне совершенно точно знаем место рождения академика Сатпаева. Родись он во время кочевок — было бы трудно точно сказать, в каком именно месте он родился, ибо места остановок, привалов менялись из года в год. Зимовали Имантай аксакал и его близкие на берегу речки Ащису у сопок, называемых Айрык, приблизительно в семидесяти километрах к юго-западу от известного поселения Баян-аул в Баян-аульских горах.

В степях в то время записей актов гражданского состояния не существовало, но мы точно знаем дату рождения ученого. Этому мы обязаны особой предусмотрительности отца будущего академика. День рождения своего сына — 12 апреля (31 марта по старому стилю) 1899 г. — он решил записать на внутренней стороне обложки Корана. Запись гласила: «В год кабана или в 1899-м по новому начислению, в месяц наурыз, или март в 31 звезду, в день понедельник всевышний даровал рабу своему сына Имантая. Нарекли его Габдулгани. Нет предела милостям создателя. Слава Аллаху. Аминь». Имантай-аксакал сделал эту запись на обложке Корана не случайно:

священная книга в семье являлась «настойной» (мы берем это слово в кавычки, ибо в кочевом быту столов в ныне принятом смысле слова не было), ее очень берегли, и сохранность самой книги обещала сохранить и записи. Так оно оказалось в самом деле. Набожный отец будущего ученого оказал этим большую услугу истории.

Каким был в детстве будущий академик? Чем он отличался от своих сверстников? Как он рос и развивался? К сожалению, на этот счет хронологически сверенные сведения не сохранились. Сверстники Каныша Имантаевича, выросшие вместе с ним, вспоминают, что он был хорошим, незаносчивым, общительным мальчиком. В детали не вдаются. Общее состояние дел по сбору достоверных сведений о детстве академика как-то своеобразно резюмировал двоюродный брат его, бывший рабочий совхоза, ныне покойный пенсионер Акимтай. Один из журналистов обратился к нему, прося рассказать о детстве ученого. Престарелый Акимтай, человек острый, ироничный и резкий, ответил: «Да, я хорошо знаю брата Каныша. Мы внуки деда Сатпая, наши отцы Имантай и Жамин — родные братья. Я горжусь братом, может быть, более чем кто-либо. Но, убей меня бог, если бы я в то время знал, что Каныш станет Канышем, а не останется таким, как я, я бы запоминал каждый его шаг, каждое его слово. Беда в том, что никто тогда этого не знал. Я был чуть старше его, и помню, что он был хороший, рассудительный мальчик. Был послушен и я на него не в обиде. Больше ничего не помню. Спрашивайте у других стариков, здесь у нас в ауле найдутся умеющие рассказать небыль как быль. Сколько уж прошло... Сам себя не помнишь... Не приставайте. Садитесь, угощайтесь кумысом, а мне пора намаз совершать». И все же мы приведем некоторые данные, которые может быть, укажут на истоки некоторых отличительных черт в духовном облике академика.

Как Габдулгани стал Канышем? В этом сказались особенности отношения к детям в кочевых казахских семьях. Родители, достаточно просвященные в религиозных понятиях, давали новорожденным имена строго арабские. Обстоятельства, при которых был наречен Каныш Имантаевич, в памяти близких не сохранились. Однако, можно полагать, что имя Габдулгани, слагающееся из слов чисто арабского происхождения, было дано сыну Имантая-аксакала, если не по прямому указанию последнего, то, во всяком случае, не без влияния его, ибо он был довольно начитанным мусульманином. Одна-

ко, кажется, в данном случае имело значение не только звучание имени, но и заветное желание отца: «Габдул» в переводе с арабского означает «раб божий», а «гани» — «богатый», «состоятельный». Думается, что отец очень хотел, чтобы новоявленный раб божий был богатым, состоятельным человеком.

В кочевых семьях очень любили детей. Каждого ребенка старшие этой семьи, этого рода ласкали, нянчили, носили на руках, давая разнообразные ласковые прозвища. Вначале эти прозвища исходили из корня настоящего имени, или, как говорили тогда, имени, закрепленного азаном (молитвой). С течением времени какому-то из прозвищ отдавалось предпочтение, к нему привыкали, мало заботясь о том, что оно совсем отдаленно напоминает (или вовсе не напоминает) настоящее имя. Таким образом, Габдулгани превратилось в Каныш, и мало кто ныне догадается, что имя получилось от переименования второй части первородного имени — Гани. Также мало кто догадался бы, что настоящее имя великого Абая — Ибрагим, а знаменитого Чокана Валиханова — Мухаммед-Канания, если бы не свидетельствовали об этом биографические источники. С годами исходное имя редко кто вспоминал. Считалось, что раб божий имярек числится в небесах по имени, закрепленному азаном, и при чтении надгробной молитвы мулла справлялся о первородном имени покойного, но не всегда. Полагали, что потом в небесах как-то разберутся.

При рождении будущий Каныш по обычаю предков обрел и вторую мать-тетушка Кульжан (жена одного из дальних родственников) обрезала младенцу пупок и стала киндык-ана (дословно пуп-мама). В степях считалось, что киндык-ана имеет особое влияние на младенца, вплоть до того, например, что человек, взрослея, становится похожим на нее отдельными чертами характера. Поэтому в казахском быту того времени, когда речь заходила о недостатках или достоинствах того или иного человека, можно было слышать совершенно серьезный подкрепляющий аргумент: «Ведь у него (или у нее) киндык-ана такая-то». К киндык-ана со стороны киндык-сына (или киндык-дочери) всегда сохранялось чувство сыновнего (дочернего) уважения. Маленькому Канышу тетушка Кульжан была особенно близка: мать родила его, будучи уже серьезно больной туберкулезом, и потому киндык-ана, сама недавняя роженица, невольно стала кормилицей своего киндык-сына. Рассказывают, как, приезжая в родной аул, маститый, грузный академик заходил к своей киндык-ана Кульжан и садился, скрестив по-старинному ноги, на кошму рядом с маленькой,

сухонькой, сморщенной старушкой и, точь-в-точь, как в детстве, начинал какую-нибудь ребяческую шутку, например, по мальчишески ласково выпрашивал у нее сладости, «припрятанные» киндык-мамой для своего любимого киндык-сына.

Габдулгани родился, когда его отцу было 56 лет. Долгожданный первый сын у Имантая появился четыре года тому назад. Каждый родитель в степях мечтал о куче детей, о большой семье. Это подсказывалось не простым инстинктом продолжения рода. Родовой быт требовал, чтобы семья была сильной, чтобы род был могучим. Для этого нужны мужчины, много мужчин. Поэтому каждый отец мечтал, чтобы жена ему приносила много сыновей, чтобы род его размножался, чтобы он не остался «кубас» (дословно «одинокий сухарь» — оскорбительный эпитет, применяемый к бездетным), чтобы к старости была защита и опора. Имантай-аксакал, как мы уже говорили, был довольно просвещенным человеком и к тому же обладал недюжинным природным умом. Он чувствовал влияние таких перемен, когда в степях постепенно терялось значение крепкого кулака и длинного соила (палка с круглым наконечником — главное оружие всадника-джигита), когда бумаги в канцелярии уездных начальников начинали играть судьбой людей в большей степени, чем количество и сила джигитов той или иной семьи, того или иного рода. Поэтому, казалось бы, Имантай-аксакал мог быть довольным: жена его Нурум родила дочь и, поскольку более детей не было, он усыновил племянника своего Абсаляма, женил его и выделил в отдельную семью-отау. Не достаточно ли двух детей — дочери и сына? Оказалось нет. Аксакала втайне грызла мечта о сыновьях собственной крови, ибо не закроешь рот невеждам. Каждый может сказать: «Тебя сам бог обделил, ты же на самом деле — кубас!» Слишком крепко сидела в аксакале родовая закваска. И он в пятьдесят лет взял вторую жену. И вот: аллах не без милостей — второй сын. Это была большая радость, хотя, может быть, и несколько запоздалая. Но народная мудрость во всем находит утешение: «радость и добро никогда не бывают поздними» (игиликтин ерте — кеши жок).

Читатель, наверное, помнит, по описанию Мухтара Ауэзова, как в детском сердце маленького Абая холодным трепетом отзывалось соперничество между несколькими матерями в полигамной семье его отца Кунанбая, как это соперничество переходило на детей, подтачивая и разъедаая чистоту эмоций в их наивных душах. К счастью, маленький Каныш в семье Имантая-аксакала не испытал этого. Мать его Алима умерла,

когда младшему ее сыну Канышу было всего два года. Дети остались на руках стареющей Нурым, которая всю свою нерастраченную любовь сосредоточила на них. Однако родные и близкие, хорошо знавшие Алим, полагают, что живи она дальше, дети ее были бы еще более счастливы, ибо она внесла бы много светлого и жизнерадостного в их жизнь, разнообразя спокойную тихую ласку и молчаливую заботу аже (бабушка, так ее прозвали дети Алимы) Нурым. Дело в том, что в этой семье между двумя матерями-соперницами сразу же установились почти невиданные для подобных степных семей отношения взаимного согласия и взаимной приязни. Мамаша Нурым, эта крупнотелая, смуглолицая, спокойная, выдержанная, вечно занятая по хозяйству женщина, по свидетельству знавших ее, была настолько проникнута заботами и чаяниями рода Сатпая, надеждами и думами своего мужа Имантая, что все больше испытывала нечто вроде угрызения совести за то, что оказалась бесплодной — единственная дочь, выданная замуж в счет не шла: дочери рождаются для чужих — вещала народная поговорка. И говорят, когда девушка Алима из недалекого аула оказалась вдруг свободной, в виду смерти жениха, Нурым сама подсказала мужу взять ее в жены: девушка, «овдовевшая» еще в невестах, не могла претендовать на лучшую долю, как быть второй женой стареющего человека.

О чем думала мамаша Нурым, когда ее муж привез домой вторую жену — девушку, еще не достигшую двадцати лет? Наверное, ей было грустно. Пусть читатель снова вспомнит, как в романе об Абае Мухтар Ауэзов описал переживания умной и дальновидной матери поэта Улжан, когда ее стареющий, шестидесятилетний муж взял себе четвертой женой семнадцатилетнюю Нурганым. «Улжан — пишет Мухтар Ауэзов — была далека от ревности, ибо она привыкла владеть собой. Она как будто уже не считала Кунанбая мужем — он был отцом ее сыновей, родным человеком, связанным с ней долгой жизнью, многими годами общих переживаний. Все другие чувства к нему в ней умерли». Мамаше Нурым было уже пятьдесят лет (она была ровесницей Имантая), и можно полагать, что будучи умной и сдержанной, она покорила своей участи, тем более, что она сама явилась инициатором этой второй женитьбы своего мужа. И все же рассказывают, что в тот самый момент, когда молодую женщину Алим ввели в дом женой Имантая, мамаша Нурым исчезла. Женщины кинулись искать: бедная байбише сидела в отдаленном углу двора и тихо про себя плакала. Это было, говорят, последнее и единственное изъяв-

ние печали, которое пришлось увидеть друзьям и близким у мамы Нурым по поводу второй женитьбы мужа.

С приходом молодой Алимы в семье Имантая произошло нечто удивительное и непривычное для жен-соперниц. Старейший степняк с достатком брал, как правило, в токалы девушку из бедной и неродовитой семьи. И молодая женщина в руках властной байбише (первой жены) оказывалась, как правило, в роли служанки: она понукала последней, вымещая свою ревность и свою злобу. Редко, когда молодая токал, заимев влияние на старика-мужа, брала верх: это было чаще всего в тех случаях, когда байбише была бездетной и не имела опоры, а молодая соперница оказывалась своенравной и хитрой. В семье Имантая не случилось ни то, ни другое. Алима была стройна и красива: на ее белом, чернобровом лице постоянно блуждала располагающая улыбка, она была смешлива, юмор ее был неиссякаем. Она как будто совершенно не придавала значения тому, что ее муж, серьезное и строгое лицо которого редко смягчалось, был на тридцать с лишним лет старше ее и что она пришла в эту семью, в этот род в качестве токал. Своим беззаботным и звонким смехом, простым, бесхитростным отношением ко всему, что ее окружало, умением найти во всем смешное и вызвать неожиданное веселье, она быстро расположила к себе родных и близких. Мамаша Нурым таяла перед ней, испытывая нечто вроде материнских чувств — дело совершенно невиданное между женами-соперницами в полигамных семьях. Прожила она в семье Имантая всего шесть лет — родила троих детей — дочь Газизу, сыновей Бокеш и Каныша. Память о ней сохранилась в семье и ауле Имантая краткой, светлой и улыбчиво-веселой полосой. Старики и ныне вспоминают ее остроумные шутки и импровизации. В степях острое слово, шутка ценились высоко. Отсутствие умения шутить, отсутствие, как мы теперь говорим, юмора приравнялось к отсутствию умения думать, соображать и считалось большим недостатком. В казахских аулах обязательно вышучивали друг друга ровесники, женщины прохаживались в адрес младших братьев мужа и наоборот, родственники по женской линии (сваты и сватьи) вступали в состязания по части выдумывания шуток и шуточных ситуаций. По рассказам, мать маленького Каныша Ак-Алима (Белая Алима), как ее прозвали в ауле, обладала удивительными способностями находить смешное и всегда могла блеснуть своими импровизациями. В ауле жил один из младших родичей Имантая молодой джигит Сыздык. Он любил загадывать шуточные загадки. Как-то за кумысом (к Алиме аульчане любили заходить попить

кумыс, в особенности к вечеру после трудового дня) Ак-Алима предложила Сыздыку загадку и сказала, что неразгаданная в срок загадка продается:

За той ли речкой за рекой
Горка дышит в две дыры.
Хоть гол хребет у горки той,
Зато густ тал вокруг горы.

В отведенное время Сыздык не смог разгадать загадку и пошел советоваться к младшему брату Имантая Жамину. Жамин захохотал: «Ты посмотри на себя в зеркало». Действительно, у Сыздыка в густой чаще бороды и волос на лице торчал горкой нос с двумя «дышащими дырами» — ноздрями. Сыздыку пришлось ехать в Баян-аул за платьем для Алимы, чтобы выкупить загадку.

Тот же Сыздык был любителем посквернословить, что очень не нравилось Алиме, хоть в степном быту не очень в этом отношении стеснялись. Она решила пристыдить Сыздыка и пустила четверостишие:

На моего кайным ты глянь:
Красивый рот аллахом дан.
Но жаль: приятные уста
Извергают часто дрянь.

Услышав это четверостишие, Сыздык ходил к Алиме просить прощения и перестал сквернословить.

В степях врачебная помощь в те времена отсутствовала, специальные меры профилактики не предпринимались и, естественно, дети, как правило, перебаливали всеми положенными болезнями: оспой, корью, дизентерией и др. Большая часть детей умирала в раннем возрасте, и родители находили лишь слабое утешение в той вере, что это связано с желанием самого аллаха иметь около себя больше невинных, незапятнанных, чистых душ. Ак-Алима, недаром ее так прозвали в ауле, оказалась удивительно чистоплотной женщиной, и весь день была занята шитьем, штопанием и стиркой пеленок и одежды своих детей. Окружающие поражались домовитости, детолюбию молодой женщины, и многие готовы были подтрунить по этому поводу, да боялись острого языка Ак-Алимы. Рассказывают, что байбише Нурым во всем потакала и поощряла свою любимую соперницу. И потом, когда Ак-Алима умер-

ла, у байбише Нурым длительное время появлялись на глазах слезы, когда она вдруг обнаруживала, что старается делать все по отношению к детям так, как делала покойная. И, слава аллаху, дети, переболев всеми страшными болезнями, остались живы-здоровы и росли хорошо. Считали, что хорошая, добрая, благородная Ак-Алима умерла такой молодой с тем, чтобы взять всю тяжесть несчастий, отведенных небесами семье Имантая, на себя, и ее желания сбываются.

Такие воспоминания сохранились в ауле ученого о его родной матери. Мы их сочли необходимым привести, полагая, что в том неотразимом обаянии, которое было присуще академику, в его неизменной доброте, шедшей как бы от самой сути его натуры, в его находчивости и юморе, может быть, что-то было от рано умершей молодой матери его, Ак-Алимы, которую ученый, к сожалению, не мог помнить в лицо, представляя ее облик из рассказов, которые он слышал уже повзрослев.

По свидетельствам аксакалов, близко и хорошо знавших отца ученого, стареющий Имантай очень любил своих детей и особо внимательно приглядывался к младшему Габдулгани-Канышу, ибо в каждой семье младший — главная опора стариков. Старшие женятся, отделяются в отау и, окунувшись в свои семейные и другие заботы, постепенно черствеют к старикам; и только младший остается с ними, являясь хозяином кара шанрак, — главного дома, где живут родители, — и от того, каким будет младший, этот кенже (последыш) зависят покой и счастье старости. Можно представить себе, какой прилив нежности вызывал у аксакала немного медлительный в движениях, большеголовый, лобастый мальчик: белизною лица, ясным взглядом глаз, в прищуре которых таилась материнская лукавинка, он напоминал покойную Алиму, а не по годам крупное тело, тяжелое подбровье выдавали свое, сатпаевское. Голова мальчика была примечательна — она была широка и выпукла в висках. Это, должно быть, очень нравилось аксакалу, ибо в народе выпуклые виски детей выдавались за особую примету, связанную с будущим умом, везением и счастьем: «виски выпуклы, как наполненный бурдюк» — произносилось в похвалу. В связи с этим примечательной особенностью строения головы академика хочется привести шутку, бытовавшую в семье Каныша Имантаевича. Врачи посоветовали пользоваться очками, и здесь выявилась неожиданная трудность — очки, какие бы ученый ни примерял, расходились широко у висков и никак не дотягивались до ушей. Это стало

темой семейных острот. Академик отшучивался: глупцы-мальчишки в детстве, а теперь жена и дети называют котлоголовый — казанбас, а мудрый дед Имантай любил своего сына-кенже именно за этот «котел».

Академик Сатпаев недаром отдавал должное мудрости своего отца. Имантай-аксакал был действительно человеком недюжинного ума. Академик А. Х. Маргулан, не раз бывавший в свои студенческие и аспирантские годы в ауле Сатпаева, свидетельствует о том, как старый Имантай, остававшийся, несмотря на преклонный возраст, высоким, стройным и величавым, поразил его своим многознанием. Аксакала можно было слушать часами с неослабевающим интересом — так подробно он был осведомлен о прошлом своего народа и своего племени, изустно знал казахский фольклор и творчество поэтов-импровизаторов, хранил в памяти лучшие образцы тюркоязычной восточной литературы. Имантай — аксакал слыл в своей среде очень грамотным человеком. Этого он, по-видимому, добился в основном постоянным чтением доступной литературы, т. е. самообучением, хотя, по свидетельству академика А. Х. Маргулана, некоторое время (правда, очень недолго) учился в азиатской школе в г. Омске. И было совсем неслучайным, что Имантай Сатпаев, будучи грамотным по-русски, активно участвовал во всероссийской переписи населения в конце прошлого века, что он, являясь корреспондентом Русского географического общества, записывал и пересылал последнему образцы народного словесного творчества, что услугами его пользовался друг Чокана Валиханова Г. Н. Потанин в своих разносторонних этнографических изысканиях. Можно полагать, что такой человек рано заметил способности своего сына-кенже и старался учить Каныша, не прерывая; так оно и было на самом деле.

Ныне биографы с благодарностью отмечают героическую роль рано овдовевшей матери Д. И. Менделеева в судьбе будущего великого химика — именно неизменная вера в задатки младшего сына-последыша заставила эту измученную непосильными заботами о прокормлении большой семьи женщину проявить нечеловеческую настойчивость и изобретательность при устройстве отрока из далекой сибирской провинции в столичный институт. Может быть, роль Имантая-аксакала в постижении сыном основ наук была не столь яркой, но одно несомненно: он поощрял учение именно младшего сына. Позднее сам академик в доверительных беседах признавался, что его старший брат был более способным, чем он.

Это высказывание, наверное, следует отнести и к скромности большого ученого, и к его любви к старшему брату, которого он лишился рано, в тридцатых годах, ибо нельзя считать, по-видимому, случайным, что при равных возможностях аксакал предпочел учить все же младшего, дав старшему только аульное образование и оставив его при себе дома.

Можно полагать, что любознательный мальчик Каныш не мог не испытать влияние отца, выделявшегося своей, как мы сказали бы ныне, образованностью и эрудицией. Несомненно, что первые сведения о прошлом и настоящем своего народа будущий ученый получил из уст отца, из его рассказов, красочно переписанных стихами прославленных степных златоустов, таких, как Асан-кайги и Бухар-жырау (последний приходился одним из предков Сатпаевых по боковой линии), изречениями и притчами мудрецов Востока. Он, будущий ученый, надо думать, гордился красноречием, находчивостью отца, когда приходилось ему быть не раз очевидцем или слышать о том, как отец, местный бий, разбирал многочисленные тяжбы сородичей с окрестных аулов и родов, где Имантай, по рассказам близко знавших его, показывал не только стремление к справедливому решению спорных дел, но и умению примирять, успокаивать тяжущие стороны. Известно, что в подобных случаях в устах степных витиев более всего убедительными звучали примеры из истории народа, заключенные в многочисленных преданиях, хранившихся в памяти поколений.

Позже Каныш Имантаевич по справедливости оценит склонность своего народа беречь рассказы о предках, из уст передавать предание старины. Это помогло сплошь неграмотному народу сохранить массу сведений из своей истории. Не раз у него будет вызывать улыбку, а иногда и горечь явное желание приукрасить прошлое в унижение к настоящему, кичливое бахвальство людей каждого рода явно преувеличенными деяниями своих предков часто в унижение предков соседних родов, что приводило к ссорам и распрям из-за пустяков. Имантай-аксакал, более сдержанный в похвалах к своему прошлому, чем многие другие соплеменники (Каныш Имантаевич это определит потом), например, гордился тем, что отец его Сатпай умер в святых местах. Между тем, детали этой смерти не были известны, а трезвые соображения по этому поводу должны вызывать горестные раздумья. Этот почитаемый окружающими аксакал в 80 лет решил совершить паломничество в Мекку и стать хаджи. Сам он был недостаточно грамотен и сведущ, к тому же стар, чтобы совершить путе-

шествие самостоятельно. Нашелся очень расторопный ходжа Мухамеджан, который собрал 12 аксакалов, жаждавших так же, как и Сатпай, стать хаджи, и паломники выехали в Мекку. Вернулся только ходжа Мухамеджан. Много было пересудов по этому поводу в степях. Обвиняли Мухамеджана, ставшего на костях хаджи, в гибели уважаемых старцев. Это был не первый случай в степях, когда у состоятельных людей появлялась к старости жажда во что бы то ни стало искупить грехи молодости и когда эти люди ввиду своего невежества легко становились наживой для степных пройдох. Не рассказывал сыну Имантай-аксакал и о том, что не всегда слава о его предках была доброй. Знаменитый акын Шоже, например, осуждал деда Имантая Шотика, как скрягу и скареда, в то же время отдавая дань человечности его сына Сатпая:

Шотик, тебя опозорить легко,
Ты, как скаред, известен.
Да жаль Сатпая, сына твоего,
Он благороден, щедр и честен.

Эти и многие другие детали о прошлом своего рода Каныш Имантаевич узнает потом, позднее, когда иногда придется вступать в шуточные, а иногда серьезные состязания в остроумии со своими сверстниками или, вызвав недовольство, попадаться на язык к иному острослову-аксакалу. Рассказывают, как с завидным спокойствием принимал Каныш еще в ранние юношеские годы словесные «уколы», которые у других в подобных случаях вызывали бурную отрицательную реакцию. Это относили к рано проявляемой воле и выдержке его, ибо, как сказал Абай, «кричащий в гневе смехон, молчащий в гневе страшен». Конечно, Каныш Имантаевич уже тогда имел завидную волю и выдержку. И все же здесь более сказывалось просто равнодушие к этим «уколам», ибо Каныш Имантаевич рано смог понять как неприлично бахвалиться своим прошлым и настоящим, укоряя во мнимых недостатках других. Долго, думается, Каныш Имантаевич будет внутренне улыбаться при воспоминаниях, как крепко еще сидела в его умном, рассудительном, склонном к самоанализу отце родовая заправка, заставлявшая даже его умалчивать о деталях в жизни и деяниях его предков, которые не могли быть отнесены к их достоинствам. И все же будет, пожалуй, преувеличением, если утверждать, что, должно быть, существовали какие-то незримые

наследственные нити, идущие от отца, в той духовной многогранности и в том, неуловимом степном колорите неотразимого обаяния, присущем академику Сатпаеву и оставлявшем неизгладимое впечатление в пораженном и очарованном собеседнике.

Говоря об истоках этого неповторимого степного колорита, который в сочетании с выдающейся русско-европейской образованностью и ученостью, придавал духовному облику К. И. Сатпаева только ему характерные своеобразие и самобытность, пожалуй, не следует не учитывать, что будущий академик родился, вырос, провел детские и юношеские годы в одном из красивейших уголков Центрального Казахстана. Чудная природа Баян-аульского горно-лесного оазиса поражает воображение человека. Выше писалось, что будущий ученый родился в семидесяти километрах от поселка Баян-аул. Баян-аульские же горы начинались совсем невдалеке от аульных урочищ. Можно представить, как волновал отрока переход бескрайней шири кочевий к покрытым лесами каменным кряжам, как будто созданным, чтобы сторожить и оберегать серебряные глади изумительных озер. Мальчик на всю жизнь был очарован (он об этом говорил не раз) камнем-кольцом, находившимся рядом с зимовьем. Можно вообразить, какое восхищение и удивление вызывали у него изваяния природы на Баян-ауле, о которых один из исследователей писал: «Здесь, действительно вырастают во всей красе всевозможные обелиски, зоховые бальмы, столбы, грибообразные и качающиеся камни, гроты, банши и другие памятники, созидаемые природой в непрерывных процессах разрушения ею своих произведений». И каждый камень-изваяние носил на себе легенды и предания о прошлом народа, о его чаяниях и думах. Особо запечатлевались в памяти романтические сказы, связанные с героическими подвигами предков при отражении нашествий многочисленных завоевателей с востока. Природа Баян-аула была щедра на таланты. Не будем перечислять тех, кто жил и прославился до рождения ученого. Ими он был напоен из народных песен и преданий. Отметим лишь, что редко кому приходилось в глухих степях с детства видеть, слушать, быть в знакомстве с таким количеством славных современников, как это посчастливилось будущему ученому. Среди этих выдающихся людей мы могли бы назвать замечательного поэта и мыслителя Султан-Махмута Торайгырова, бывшего старше Каныша Имантаевича лишь на каких-то пять-шесть лет. Думается, что не могло не поразить воображение не лишенного

честолюбия юноши, как этот больной, физически немощный молодой человек умер в неполные двадцать семь лет, успев завоевать всенародную славу. Не раз в ауле Имантая бывал знаменитый певец и композитор, любимец и баловень народа, человек трудной, но легендарной судьбы Жаялу-Муса. Не раз, думается, юный Каныш слушал философские беседы отца с жившим рядом известным степным мудрецом и поэтом Машур-Жусупом Копеевым, отличавшимся непостижимой для того времени книжной образованностью.

Но вернемся к тому, что писал о себе ученый. «Родился я в глухой степи, в семье казаха-кочевника. Великая Октябрьская революция застала меня сельским (аульным) учителем в глухом Баян-аульском районе Павлодарской области... Летом 1921 г. в Баян-аул приехал на лечение профессор (позже академик) Томского технологического института Михаил Антонович Усов. Во время наших прогулок по гранитным массивам Баян-аула он много рассказывал мне увлекательного о геологии и горных богатствах Казахстана... В том же 1921 году по путевке Семипалатинского губоно я приехал в г. Томск и был принят на геолого-разведочное отделение горного факультета Томского технологического института... Окончив в 1926 г. курс горного факультета, я с путевкой и напутствием профессора Усова был направлен на работу в Центральный Казахстан». Так скупно очерчен академиком тот отрывок в жизненном пути, который окончился для него приобретением специальности горного инженера-геолога. Он не пишет о том, что был одним из первых казахов, получивших инженерное образование; не пишет и о том, что в те времена лиц, окончивших средние специальные и высшие учебные заведения, можно было по пальцам перечесть, да и те не успевали поработать по специальности, ибо ввиду нехватки грамотных людей мобилизовывались в учреждения по управлению государством и народным хозяйством, и Каныш Имантаевич был первым инженером, устоявшим против мимолетного требования времени и твердо ставшим на путь будущего знатока геологии своих степей, начав свою деятельность непосредственно в поле, в партии, в качестве геолога-поисковика. Он не вспоминает и о том, что годы его учебы были двадцатые годы, когда страна, только что пережившая ужасы Гражданской войны, направила все свои усилия на борьбу с разрухой. В казахских степях тяжело давалось новое. Консервативные силы не уходили без боя. Степям нужны были достаточно образованные люди, чтобы разъяснять массам смысл всего того, что делается для их блага. Такое образование Каныш Имантаевич уже

имел — он окончил Семипалатинскую учительскую семинарию. В степях в то время плохо понимали, что такое «инженер», и заветной мечтой родителей было, чтобы их дети научились быть учителями, адвокатами, судьями. И само желание юноши ехать продолжать образование, чтобы стать инженером, было новым, непонятным многим сородичам и близким, а с ними по установленной традиции молодой человек обязан был советоваться перед таким важным шагом в жизни. Сородичам же казалось, что Каныш уже постиг все тайны знаний, окончив такую русскую школу и название которой не выговоришь: «Семинария». «Сын Имантая едет научиться камни собирать... Переучился, видать, перетянул какой-то узел в мозгу», — так рассуждали в то время многие из окружающих. Надо было обладать волей будущего академика, чтобы перебороть этот психологический барьер и, уволившись с почетной должности (в 1921 г. он работал судьей), ехать на полугодный паек студента в совершенно незнакомые края.

Само появление в известном сибирском институте юного казаха в качестве студента было, по-видимому, сенсацией: так мало училось в технических (да и во всех других) вузах представителей отсталых окраин бывшей царской России. Когда недавно один из корреспондентов обратился к дочери известного Томского профессора Л. Л. Тове, что она, А. Тове, может рассказать о К. И. Сатпаеве, та ответила: «Ваше сообщение: Сатпаев окончил наш институт» вызвало у меня грустную улыбку и воспоминание, и мысль: «какая я древность». Вы знаете только то, что он окончил, а я могу сообщить первое упоминание о нем... Как сейчас слышу слова Петра Львовича, моего покойного брата: «Мама, у нас новый студент — киргиз!!! Ты бы знала, какой он умный, способный, как он старается все узнать и схватывает на лету!!!» Сатпаев для теперешнего поколения это непонятно. В те времена (Петр Львович окончил в 1926 г.) еще не вошло употребление — казах, и кроме того, это был первый нацмен. Теперь в этом нет ничего удивительного».

История науки сохранила в памяти такой эпизод. Лет триста с лишним назад профессор Кембриджского университета известный в то время математик Бэрроу обратился к ректору университета дать ему отставку с единственным условием, чтобы на его место был определен один из его молодых учеников, который, как он убедился в этом, намного талантливее его, тоньше и острее постигает глубины науки. Этим учеником Бэрроу был Ньютон. Открытие гения Ньютона было са-

мой выдающейся заслугой этого великодушного человека. заслугой, которой мог был позавидовать любой другой ученый. Мой народ ныне воздаст должное одному из замечательных сыновей русского народа академику Усову Михаилу Антоновичу, ибо это он сыграл решительную роль в счастливом повороте судьбы Каныша Имантаевича, ибо он впервые заметил в аульном юноше черты будущего выдающегося ученого. Бывшие питомцы Томского технологического института вспоминают, что принимать личное участие в судьбе студентов, особенно из национальных окраин, было в правилах М. А. Усова. Скучность профессорского пайка совершенно не имела влияния на врожденную широту усовской натуры, и некоторые из этих студентов (в том числе и К. И. Сатпаев) подолгу жили у него дома. Усов любил казахские степи, незримые нити прошлого связывали его с казахским народом. Он был учеником и соратником знаменитого геолога и путешественника, писателя-фантаста В. А. Обручева. Оба они, и Обручев и Усов, были приятелями одного из изумительных представителей дореволюционной интеллигенции, неутомимого путешественника, географа, этнографа, фольклориста Г. Н. Потанина. Потанин умер в возрасте 85 лет за год до приезда К. И. Сатпаева в Томск. Но ведь Г. Н. Потанин — это тот Потанин, который был одним из лучших друзей нашего Чокана Валиханова, учился с ним в Омском кадетском корпусе, вместе служил после окончания учебы. Это тот Потанин, который оставил самые теплые воспоминания о Чокане, его отце и родственниках. Это тот Потанин, который, как слышал Каныш, за пять лет до смерти, будучи уже престарелым человеком, приезжал в степи, гостил у казахских друзей недалеко от родного Баян-аула, и не по возрасту неутомимо записывал народные притчи, сказания, песни. Руки замечательных учителей Каныша Имантаевича хранили тепло от рукопожатий друга и наперстника Чокана, а значит и тепло от рукопожатий самого Чокана. Не знаменательно ли, что с приездом юного Каныша в Томск оказались связанными одной нитью имена самых выдающихся сыновей своего народа — Чокана Чингисовича Валиханова и Каныша Имантаевича Сатпаева? Может быть, юному, романтически настроенному Канышу не раз казалось, что изумительный, сказочный, предшественник его Чокан, легендарный и короткий жизненный путь которого не раз, по видимому, бывал темой бесед в кругу Обручева и Усова, протягивает через этих русских друзей руку ему, призывая к смелому восхождению к вершинам науки.

Исследование жизненного и творческого пути академика

Сатпаева, ученого и общественного деятеля, эрудита, чье авторитетное мнение оказывало решительное влияние на многие аспекты в бурном, динамичном развитии республики, только начинается. Не современникам дано единым мысленным взором с достаточной полнотой и объективностью охватить все деяния таких необычных людей, каким был К. И. Сатпаев, ибо редко кто из тех, кто соприкасался с ним оставался безразличным к его личности. Однако бесспорна одна истина, которую высказал недавно соратник нашего Каныша известный академик Д. В. Наливкин: «Кем мог бы стать Каныш Имантаевич, если бы он жил много сотен лет назад, сказать трудно. Несомненно, он не стал бы поэтом. Для этого он был слишком практичным, слишком жизнерадостным... Строительство новых городов, созидание гигантских, стремящихся ввысь сооружений более подошло бы для него. Но не вполне. Все же строительство — это узкая специальность. Каныш Имантаевич был человеком широких, разносторонних интересов. Его увлекала вся природа, во всем ее разнообразии, со всеми ее загадками... Каныша Имантаевича можно представить только в одной роли — главы Науки... Каныш Имантаевич был настоящим главой науки. Какую бы работу он ни начинал, каков бы ни был ее объем, он неизменно становился ее бесспорным руководителем, и сама ценность работы возрастала».

Велики и разнообразны деяния этого человека. Поэты пишут стихи и песни о его делах, писатели воссоздают его образ, а народ слагает легенды. Старики и дети, например, очень верят в то, что кто-то из сверстников академика вспомнил, как Каныш с детства любил камешки и играл только ими, тогда как все другие мальчики играли в кости-асыки: что будто у мальчика при виде иных камней сосредоточенно застывали глаза под широким лбом.

Думается, что прав был брат ученого Акимтай, когда говорил, что Каныш Имантаевич в детстве своим был таким же мальчиком, как и все. Он так же, как и все мальчики того времени, самозабвенно играл в асыки и другие детские игры, гонял ягнят и жеребят, стыл на ветру, увлеченный нехитрыми забавами, и вряд ли он особенно задумывался над смыслом вещей, заключенным в камнях. Но простим простонародной фантазии ее наивные выдумки, ибо человек от природы таков, что не может не наделять любимых сыновей и дочерей своих различными необыкновенными и отличительными чертами. Для нас сегодня достаточно поучителен великолепный пример мужества и смелости, трудолюбия и дерзания, вдохновения и размаха ради народа и для народа, которым характери-

зуется весь творческий жизненный путь Каныша Имантаевича, ибо интерес народа к его детским и отроческим годам происходит из необычности содеянного Сатпаевым после того, как он окончил институт и стал подготовленным к зрелой деятельности человеком. В этом пути мы могли бы отметить три детища социалистического строительства в республике, которые неоспоримо связаны с именем и деятельностью первого нашего академика. Это — медная кладовая (и кладовая многих других ценнейших металлов и неметаллов) страны — Джезказган—Улытауский горнорудный район, где впервые нашли приложение выдающиеся способности Каныша Имантаевича как неутомимого геолога-поисковика и незаурядного организатора геолого-разведочных работ. Это — институт геологических наук Академии наук Казахской ССР, который был организован Канышем Имантаевичем и где он проявил себя ученым, пытливым ум которого цепко накапливал разрозненные факты пятнадцатилетней практической деятельности в Джезказгане, чтобы в будущем найти пути для обнажения чувствуемой, но невыявленной связи между этими фактами и ими обусловленными явлениями, что позволило дать не только свежее оригинальное направление, но и большой размах исследованиям этого ныне широко известного научного учреждения. Это, наконец, Академия наук Казахской Советской Социалистической Республики, где он был первым президентом и духовным отцом многих ценнейших начинаний, превративших это средоточие мысли республики в один из крупнейших и уважаемых научных центров страны.

Джезказганский и Улытауский районы (в центре их ныне находится город Джезказган) нашей республики еще до революции были известны своими медными и угольными копями, основанными на случайно найденных поверхностных обнажениях. Естественно, что по ним совершенно невозможно было судить о народнохозяйственном значении месторождения, ибо не были известны ни запасы ценных ископаемых, ни их доля в рудной массе, ни формы и глубина их залегания. Можно себе представить трудности проведения систематической разведки, если учесть, что для такой работы требовалась довольно сложная техника (буровые станки, а к ним ремонтное оборудование, механические службы и т. д.), квалифицированные кадры и мало-мальски сносные условия для жизни и работы, потому что изучение такого сложного горнорудного комплекса, каким создала природа эту часть Центрально-го Казахстана, требовало не недели и месяцы, а годы. К этому

стоит прибавить, что этот район настоящих континентальных пустынь, дышащих зноем летом, трещащих морозом зимой, находился на расстоянии свыше четырехсот километров от ближайшей железной дороги. Все эти трудности молодым инженером были преодолены. Местные жители были обучены буровому делу, вместо громоздких строений вокруг станков, требовавших привозного строевого леса, были приспособлены юрты, словом, через 2-3 года после начала работ были получены неопровержимые данные, которые и легли в основу идеи создания в нашей стране Большого Джезказгана.

Ныне, когда в большом центре социалистической индустрии нашей республики — городе Джезказгане — работает Джезказганский горно-металлургический комбинат им. К. И. Сатпаева с его известными во всем мире рудниками, обогатительными фабриками и медеплавильным заводом, легко представить себе въявь тогдашние мечты молодого геолога. Эти мечты просто, кратко, с инженерными и убедительными технико-экономическими выкладками были положены в первом обобщаемом труде К. И. Сатпаева «Джезказганский меднорудный район и его минеральные ресурсы», изданном в 1932 году. Уже после первых лет геологических изысканий Каныш Имантевич твердо убедился в громадном значении результатов проводимых им разведочных работ и смело утверждал: «Джезказган представляет в потенции одну из богатейших мировых провинций меди, в пользу которой в будущем уступят пальму первенства большинство известных медных провинций Америки».

Новое и смелое, свежее и значительное в самом начале, к сожалению, редко принималось за таковое. Люди сидевшие вдалеке от энтузиастов, колесивших по пустыням Центрального Казахстана и оглашавших впервые шумом бурильных агрегатов голодные степи, сомневались в суждениях полевого геолога, относя их к малосмысленному оптимизму молодости. Можно представить, какую выдержку, самообладание, настойчивость должен был иметь К. И. Сатпаев, если ежегодно, а то и по нескольку раз в год, должен был доказывать необходимость продолжения работ во все большем объеме и добиваться их финансирования. И, наконец, дело дошло до того, что в 1933 году тогдашний Геолком решил вообще прекратить разведочные работы в этом районе: кипевшее дело было парализовано, оставались без работы десятки и сотни обученных специалистов, простаивало оборудование и т. д. По-видимому, не окажись во главе К. И. Сатпаев, Большой Джезказ-

ган в нашей стране был бы освоен намного позднее, может быть, мы ныне находились бы в начальной стадии этого процесса. Мудрость народа в том и заключается, что он умеет выдвигать в решительные моменты своей истории таких сыновей, которые достойно и вовремя прилагают свою энергию к разрешению актуальных проблем жизни. Таким сыном народа оказался в данном случае К. И. Сатпаев. Начались буквально мытарства по изысканию средств для продолжения работ. В течение двух лет руководители работ, которым не верили некоторые в верхах, самыми разнообразными путями добивались минимальной материальной поддержки от различных организаций для продолжения хотя бы части разведочных работ. И, наконец, когда были все пути и средства исчерпаны, К. И. Сатпаев добился в декабре 1934 года приема у Серго Орджоникидзе. Результатом этого приема явились слова Орджоникидзе, сказанные им позднее на сессии ЦИК СССР: «В ближайшем времени нам придется приступить к строительству Большого Джезказганского комбината. Там имеются богатейшие запасы медных руд. Они расположены в глубине Центрального Казахстана, вдали от железных дорог, Необходимо быстрее строить к Джезказгану железную дорогу от Караганды». Нелегко, очень нелегко было добиться Канышу Имантаевичу Сатпаеву такого признания результатов своего труда. Только теперь были созданы условия для более углубленного, для более разностороннего изучения всех богатств Джезказгана и для окончательного обоснования деталей создания Большого Джезказгана. Эта колоссальная работа была проделана коллективом геологов и многих других специалистов под руководством К. И. Сатпаева. Этот трезвый реалист, больше всего ценивший в жизни суровую логику и неоспоримую убедительность доказательств, умел стать лирически-взволнованным и эмоционально-патетическим поэтом, когда дело касалось тех заветных проблем науки и техники, осуществление которых обещают большие блага народу. Чем-то ломоносовски живописным и роскошным веет от пророческой фразы, которой закончил Каныш Имантаевич одну из своих первых статей о Джезказгане: «Когда над Улутау впервые пронесется гудок заводской сирены, то он, несомненно, найдет свой могучий отклик далеко во всех уголках Казахстана. Усилителем же этого «эха» будут: исто-

рическая популярность Улутау, его центральное местоположение, любознательность казахского народа и даже его природная склонность к песнетворчеству, причем в новых песнях, несомненно, будут звучать уже не былые ноты тоски и отчаяния, а другие, более бодрые ноты, полные мощи и отваги. То будут песни нового, нарождающегося, индустриального Казахстана». Мысль об индустриальной мощи своей республики — вот та проблема, которая мучила и жгла молодого геолога и в разрешение которой он внес больше, чем кто-либо другой из сограждан.

Каныш Имантаевич Сатпаев был ученым-геологом. Однако все знавшие его близко могли бы твердо сказать, что любые другие области знаний, включая и те области, которые принято называть чистыми науками и где требуется большая способность к абстракции, были бы также по плечу этому человеку, ибо истинный и большой талант всегда многогранен. И, вероятно, то, что наш Кенеке по счастливому стечению обстоятельств избрал прикладную геологию наиболее, соответствовало и потребностям его народа и республики и импонировало его живому и динамичному характеру, находившему удовлетворение в постоянных откликах на большие и малые земные дела. Можно полагать, что, размышляя о собственном творческом пути и путях своих соратников, — он не раз их оценивал словами одного из своих почитаемых учителей В. И. Вернадского: «Хотя с точки зрения вечности достижения чистой науки, двигающие на новый высокий уровень человеческую мысль, по сути вещей гораздо более значительны и в конце концов в истории планеты и человечества более могущественны, чем величайшие завоевания прикладного знания, — текущей жизни, для современников, гораздо большее значение имеют крупные достижения прикладного знания». И все же где та грань, которая отделяет так называемые чистые науки от прикладных наук? По-видимому, грань эта очерчена только для тех, о ком никогда не скажешь: «По высям творений как бы он шагал». Русская наука, воспитанником которой был К. И. Сатпаев, в лице лучших своих представителей явно пренебрегала этой гранью. Вспомним, что В. М. Ломоносов, обосновывая фундаментальные законы физики и химии, в то же время был автором и инициатором производства русского цветного стекла, издал «Первые основания металлургии или рудных» и всей своей деятельностью способствовал промышленному развитию России; вспомним, что Д. И. Менделеев создал периодическую систему элементов, одно из

высших достижений человеческой мысли, в то же время работал над способами транспортировки и переработки нефтей, изобрел пироколлодиевый порох, предложил ныне широко распространенный способ подземной газификации углей. Этой способностью переходить от решения частных научных и научно-технических проблем к обобщению большого масштаба и фундаментального значения, К. И. Сатпаев обладал в полной мере. Для жизни одного человека, чтобы отнести его в разряд замечательных, было бы достаточно изучения Джезказган—Улутауского рудного района и создание на основе его данных Большого Джезказгана—этого выдающегося явления в истории индустриализации нашей республики. Но для нашего первого академика это была только отправная точка. Этот геолог-практик, известный своими успешными изысканиями в Джеказгане, накопил столько фактов и столько размышлял над ними, что переход его на работу в институт геологических наук Казахстанского филиала Академии наук СССР явился естественным продолжением его геологических поисков, но уже в плане большого научного обобщения. Этим и разъясняется сама плодотворность исследований института геологических наук. Работая в этом институте и руководя растущим коллективом исследователей, К. И. Сатпаев явился одним из создателей так называемой металлогенической науки. Эта наука, благодаря работам К. И. Сатпаева, позволила геологам делать прогнозы по скоплению полезных ископаемых в той или иной точке выбранного района земной поверхности и составлять так называемые прогнозные карты, что приносит громадное облегчение в деле поисков месторождений руд. Естественно, что благодаря плодотворности идей, заложенных в основу металлогении, эта наука занимает выдающееся место в развитии всех наук геологического профиля. Сам К. И. Сатпаев отводил для себя скромную роль продолжателя идей своего учителя академика М. А. Усова. Но вот что писал известный профессор Ф. И. Шахов еще при жизни К. И. Сатпаева в 1960 году: «Метод комплексной структурно-региональной металлогении» К. И. Сатпаева является гораздо более совершенным, чем схема М. А. Усова, но по направлению он с ней созвучен». Академик Д. И. Щербаков свидетельствует: «Выдающаяся роль К. И. Сатпаева выразилась в том, что он, понимая необходимость привлечения всех ветвей геологической науки, а также геофизики и геохимии для составления прогнозных карт, сумел объединить работников разных областей геологических знаний, а также

практических геологов». Из этого следует, что практическая цель геологических наук — изучение земных недр с точки зрения использования их богатств на благо общества — достигалась до недавнего времени самыми разнообразными методами исследования и поисков и в соответствии с этими методами делились и сами геологические науки. Роль металлогенической науки, в развитии которой выдающаяся роль принадлежит К. И. Сатпаеву, сводится к синтезу методов, применяемых во всех геологических науках, с единой целью — предсказать распространение и сосредоточение полезных ископаемых в том или ином районе путем составления прогнозных карт. Если задача науки и сила ее заключается в умении предсказать те или иные закономерности или явления природы, то металлогеническая наука является самой передовой областью геологических наук. Можно понять, какими обширными и глубокими знаниями и громадными организаторскими способностями должен обладать человек, ставший во главе металлогенической науки, рожденной на основе синтеза достижений всех других геологических наук. Можно понять и то, что с именем К. И. Сатпаева связано не только развитие Большого Джекказгана, но и открытие и использование многих других самых разнообразных месторождений нашей республики, в особенности Центрального и Северного Казахстана, Рудного Алтая. Естественно и то, что, работая в сфере одних и тех же научных интересов в области геологических наук, выросли рядом с К. И. Сатпаевым его замечательные соратники академики республики Р. А. Борукаев, И. И. Бон, А. к. Каюпов, Г. И. Щерба, Члены-корреспонденты Академии наук республики Г. И. Медове, Ж. А. Айталиев, П. Т. Тажибаев и многие другие.

Наука стала производительной силой нашего общества. В нее вовлекаются все большие массы людей. Академик Н. Н. Семенов считает, что в скором будущем в каждой или почти в каждой семье будет научный работник. Чем больше место занимает в жизни общества наука, тем большая роль отводится организации научного труда, руководству научными коллективами. Известный профессор Джон Бернал, много сделавший в области науковедения, считает, что организатору научных работ не обязательно быть ученым. По всей вероятности, такое суждение исходит не столько из самой сути и особенности организации научных исследований, сколько из того жизненного факта, что сочетание организаторских способностей с талантом ученого в одном и том же лице — явление редчайшее. Более прав, по-видимому, академик П. Л. Капи-

ца, который полагает, что, несмотря на трудности нахождения и выращивания таких людей, администратор научных работ должен быть и ученым, ибо «...он должен понимать смысл и цель научной работы и должен правильно оценивать творческие возможности исполнителей, распределять роли по талантливости и так целесообразно расставить силы, чтобы все стороны развиваемой проблемы развивать гармонично». Нужно ли говорить о том, что К. И. Сатпаев проявил способности ученого-администратора вполне, руководя научными исследованиями в институте геологических наук. Но еще более многогранно проявились эти способности, когда была основана Академия наук Казахской ССР и К. И. Сатпаев стал ее первым президентом. Пушкин, отмечая универсальность научных начинаний и постижений М. В. Ломоносова, писал, что он «...сам был первым нашим университетом». К. И. Сатпаев жил в век такого углубления и такой дифференциации наук, когда стремление к универсальности в постижении знаний в лучшем случае может привести к поверхностному дилетантизму и потому личные научные интересы наш первый академик ограничивал геологическими науками. И, думается, ограничивал сознательно, не раз наступая, говоря словами поэта, на горло собственной песне. Ибо это у него записал более двух десятков казахских песен-кюев знаменитый исследователь песенного творчества нашего народа Затаевич. Ибо это он, К. И. Сатпаев, написал оду из **первых** квалифицированных рецензий на **первые** спектакли **первого** казахского музыкально-драматического театра; ибо это он наряду с геологическими поисками, как об этом свидетельствует академик Маргулан, вел и археологические изыскания, которые сыграли определенную роль в археологических исследованиях в республике; ибо это он был, как это признают многие, известным знатоком этнографии, истории и фольклора своего народа. Словом, не случайной была поражавшая окружающих колоссальная эрудиция этого человека.

Помню, как в начале 1960 года К. И. Сатпаев пригласил меня, начинающего вузовского работника, для беседы. Речь шла о том, чтобы я ехал в Караганду руководить вновь организованным там химико-металлургическим институтом Академии наук Казахской ССР. Мое естественное волнение, связанное с первой встречей со столь знаменитым человеком сразу исчезло: аксакал начал разговор с самых обыденных, традиционных расспросов о здоровье, о жизни родных, близких коллег и т. д., т. е., с чего начинают все аксакалы моего рода беседу с младшими. И как-то незаметно эти расспросы

перешли к моим педагогическим и научным делам, к исследованиям, проводимым на кафедре, где я работал. Тепло отозвавшись о руководителе кафедры, моем учителе академике Пономареве В. Д., он тут же посмеялся над некоторыми странностями последнего. В этом смехе я уловил одну, редкую особенность юмора К. И. Сатпаева — через смешное в характере, в поведении своих коллег и соратников подчеркивать свое высокое уважение к ним. Затем Каныш Имантаевич рельефными, убедительными мазками обрисовал задачи, стоящие перед институтом; при этом он указал на то, как совершенно естественно, без какой-либо натяжки мои личные научные начинания и интересы увязываются с научными проблемами по освоению минеральных богатств Центрального Казахстана; приятно было, что он особый упор сделал на необходимость моего личного научного роста, без которого невозможен настоящий, неподдельный авторитет руководителя академического научного учреждения. Словом, я ушел от него окрыленным и вдохновленным.

Позже, работая под его руководством, я убедился в том, что К. И. Сатпаев умел не только убеждать с академической добротой и неторопливостью, но и высказывать резкие, образные, запоминающиеся на всю жизнь, замечания и упрёки, давать властные, не терпящие возражений, указания. Однако К. И. Сатпаев, как никто другой, хорошо знал особенности творческих коллективов. Он всей своей научной организаторской деятельностью подчеркивал, что творческий коллектив — это не простой административно-оформленный коллектив трудящихся, а коллектив особенный, объединенный единством творческих интересов, и поэтому такой коллектив не терпит ни грани обычного администрирования. Необходимо обладать громадным тактом, особенным чутьем на угадывание склонностей и способностей людей, исключительным умением убеждать, чтобы создавать и цементировать такие коллективы. И, исходя из такого понимания роли руководящих кадров в науке, Каныш Имантаевич не жалел сил для отбора, воспитания, выращивания ведущих научных работников республиканской Академии. Особым его вниманием пользовались те, в ком он чувствовал наряду со склонностью к кропотливым научным изысканиям и заметные организаторские способности. И теперь, когда я встречаю виднейших в республике ученых и организаторов исследовательской работы крупного масштаба, деятелей науки близкого к К. И. Сатпаеву поколения, академиков республики А. Б. Бектурова, М. И. Горячева, Ш. Г. Чокина, Д. В. Сокольского, Н. У. Базанова, Т. Б. Дарканбаева, К. С. Кенесбаева, С. Б. Башиева, О. А.

Байконурова, членов-корреспондентов республиканской Академии М. А. Ермекова, И. К. Каракулова, И. Н. Азербайева, С. Ч. Толыбекова и других, я в каждом из них чувствую что-то от К. И. Сатпаева, может быть, это сатпаевское не всегда точно можно назвать и охарактеризовать, но корни этого сатпаевского в них можно понять — они длительное время вместе, рука об руку, страстно и напряженно работали над созданием материальной и духовной базы для развития науки республики на самом современном уровне и достигали на этом пути таких успехов, что их имена называют и будут называть с почетом и уважением после имени первого нашего академика К. И. Сатпаева. Каждому из этих людей науки, думаю, мне, не раз приходилось пользоваться советами, поддержкой К. И. Сатпаева, и наш первый академик не только учил этих росших вместе с ним своих коллег, но и многому учился сам у них и в мудрости его было много от мудрости этих неповторимо своеобразных и самобытно талантливых людей. Свежесть мышления и дерзость инициативы, не покидающая этих соратников Каныша Имантаевича и поныне, не раз, мыслится мне, приводила их в решении многих и многих важных вопросов к острым разногласиям и серьезным спорам, что несколько не колебало их отношения к К. И. Сатпаеву, как подлинно ведущему в их среде, ибо наш первый Президент никогда не ставил себя в положение патриарха, изрекающего истину последней инстанции, а всегда оставался творческим работником, чья собственная точка зрения ни в коем случае не ущемляла его готовность с уважением отнестись к мнению других.

Ныне, когдаходишь в величественное здание Академии наук республики, посещаешь его многочисленные институты и другие научные учреждения, где в тиши лабораторий работает целая армия научных работников, решая большие и малые задачи познания и приложения этих познаний к жизненным потребностям, дивисься широте охвата научных проблем: от создания новых методов поисков полезных ископаемых и новых технологических принципов наивыгодного использования минеральных ресурсов до попытки проникнуть в тайны образования живой клетки и истоков энергии космических лучей, и пораженному взору рисуются лишь победы, которые одерживали начинатели этих больших дел под руководством К. И. Сатпаева. Между тем, были не только победы, были трудности и были поражения. Они были обусловлены тем, что при бурном и всестороннем росте народного хозяйства и культуры республики на решающих участках не всегда оказывались люди, способные с партийной обстоятельностью и прозорливостью понимать значение и цель научных исследований и раз-

вития науки. Можно полагать также, что всемерная поддержка, которая оказывалась партией и народом нашим ученым, нередко приводила многих из них, в особенности ученых-организаторов, к потере чувства меры и такта, к болезненной запальчивости при решении отдельных нелегких вопросов по организации научных ячеек и учреждений. Может быть, этими и другими причинами объясняется тот факт в биографии нашего первого академика, когда он на некоторое время был отстранен от руководства Академией наук республики. Но великие люди тем и отличаются от обыкновенных смертных, что трудности и поражения закаляют их энергию, совершенствуют разум, обостряют чувство восприятия окружающих явлений, что позволяет им в их дальнейшей деятельности безошибочно отбирать в цепи проблем самое решающее звено. Думается, что именно поэтому и были столь плодотворными последние десять лет научной и научно-организаторской деятельности академика К. И. Сатпаева, когда он волею партии был возвращен к руководству Академией наук республики. В этот период наряду в дальнейшим укреплением и усилением крупных исследований большого прикладного народнохозяйственного значения, были заложены основы развития изысканий общенаучного значения, была создана материальная и техническая база для развития точных физико-математического профиля (институты ядерной физики, математики и механики и др.), что ныне привело нашу Академию наук на передовые рубежи в тех областях науки, где ум человеческий наиболее глубоко проникает в тайны природы. Наряду с этим К. И. Сатпаев явился инициатором создания крупных очагов академической науки в периферийных центрах республики (в Караганде, Усть-Каменогорске, Гурьеве и др.), которые ныне успешно развиваются.

«Как блестящий метеор промелькнул над нивой востоковедения Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных открытий о судьбе тюркских народов», — писал академик Н. И. Веселовский о первом казахском ученом. У первого казахского академика К. И. Сатпаева и его соратников судьба, благодаря Октябрьской революции и Ленинской партии, оказалась сказочно счастливой. Не «блестящем метеором» пролетели они, а образовали устойчивое созвездие на небе казахской советской науки, и в этом созвездии К. И. Сатпаев явился звездой первой величины, свет от которой будет вечно отражаться на делах и творениях его последователей.

СВЯТОЕ ДЕЛО ЧОКАНА

Е. А. Букетов

Технический редактор **Т. Жулидова**
Корректор **Н. Загорулько**

Сдано в набор 27.06.94 г. Подп. к печати 23.12.94 г. Гарнитура
журнально-рубленая. Печать офсетная. Бумага писчая. Усл. печ. л. 9.
Заказ 1673. Тираж 4000. ОПО «Полиграфия», ул. Ленина, 2.

1807

K/



БУКЕТОВ ЕВНЕЙ АРСТАНОВИЧ

Академик Академии наук Каз.ССР, член Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор.

Талантливый химик-металлург, автор 9 монографий, 210 научных статей, 110 изобретений и открытий, отдельные из которых запатентованы в США, Канаде, Австралии, Швеции, Франции, ФРГ, Японии и Италии, он известен и как писатель, поэт, переводчик, создавший ряд художественных произведений на родном языке и познакомивший соотечественников со многими жемчужинами русской и западной классики.

Его литературное наследие составляет более 50 произведений разных жанров.

Автор сборника "Человек, родившийся на верблюде", "Грани творчества" и автобиографической повести "Шесть писем другу" и др.

Умер в 1983 году на 59-м году жизни.